

СТАРУХИ И МОРЕ

Место, где ты появился на свет... Оно обладает такой же святостью, как имя родителей, осознание и восприятие Родины, могилы предков, родовая икона... У меня, наряду с этими бесконечно дорогими понятиями, живут-поживают в сердце милые образы поморских бабушек, деревенских землячек моих. Живых и уже ушедших, всех, которые встречались на жизненной дороге. В цветастых, чистеньких платочках, скрывающих негустые седые прядки... Сидят они посиживают в моей памяти на песчаном морском берегу, на чурбачках да на брёвнышках напротив нашей деревни Лопшеньги, и нет для них отрадное экрана телевизора или киноэкрана, чем виды знакомого с детства поморского пейзажа, распахнутого перед ними во всю ширь.

Бабушкам безразлично, какая на море погода: шторм, так шторм, штиль, так штиль. Им требуется только одно: грандиозный вид этой любимой стихии, который проплы-

вал перед глазами их предков и их самих всю жизнь. Картины родного моря — это генетически воспринятая ими часть их сущности, неотрывная, неотделимая, пока они живы сами. Это праздник, который постоянно с ними. Бабушки разговаривают с морем, как со своим дружкой-подружкой. У них общая память, потому что море растило их вместе с их родителями и знает о них всё. Случаются моменты разлада, когда морюшко поступает не так, как хотелось бы бабушкам. Тогда поморки пеняют ему:

— Ты пошто опеть штормишь-то? Взводней нагнало. Мужикам сёмужки-то и не спыпать. Совесь-то есь у тя, аль нету совсем? Прекрашай ето дело.

Видит Господь Бог, море прекращает баламутить воду, и через небольшое время морская поверхность «лосит», замирает в штиле. Они хорошо понимают друг друга — бабушки и море. Бывал я на таких «пе-

реговорах», видал их. Подтверждаю: уважают они друг дружку — поморские старушки и море. Дружат между собой.

А уж как я люблю поворковать с нашими бабульками на этих самых брёвнышках, посидеть, да посудачить. Открывается целый мир...

Мария Ивановна Майзерова, давно теперь покойница. С добром её вспоминаю. Изрядно она пожила. Было у неё около десяти внуков и приблизительно двадцать правнуков. Неунывающий, светлый жил человек.

— Ругают, как худо живём, бестолковы люди. А раньше-то чево, лучше што ли бывало? Без куска хлеба насидиссе, да наревиссе... А и то всяко было: на солнышке красном полежишь, погреиссе, в травку головушку положишь — благодать Христова! Вот тебе и радость! А тяжело, дак, конечно, и тяжело-то бывало. Кому легко...

Не верю я в лёгкую жизнь Марии Ивановны, в её благодать на травке. Потеряла мужа, двух братьев, двух сыновей. Тянула шестерых детей, одна... А она всё своё:

— Грех жаловаться, хорошо было!

Маленькие глазки её слезятся. Слезка выбегает на краешек глаза, повисит, поблестит и падает на сухую её грудь. Бабушка промокает глазок, да не поспекает она — из другого глаза слезка выпадает тоже...

Вспоминаю я рассказы родной моей бабушки Агафьи Павловны. Дочки священника, красавицы, мастерицы и труженицы:

«Было у меня восемь деточек. Росли ровненьки, крепышки. Старшеньки всюю уж помогали мне. Да пришла оспа, чёрной её называли. Помирать стали... Я и так и эдак с имя, а чего сделаешь, ни одного лекаря на весь наш берег. Страшно жить было, одного схоронишь, поревишь на погосте, потом придёшь с похорон, а уж следущой тоже помер. Вот так всех и закопали мы с батьком. Удавиче хотела от беды едакой. Павел, муж-то мой, из петёлки в последней-то раз и вынул меня... Токо последышок, Григорий, батько твой, он и остался хоть, слава Тебе, Господи... А тебя, Паша, назвали в честь отца моего Павла и мужа моего, тоже Павла. Я так попросила батька твоего и матку. Оне и исполнили. Радею я за тебя, Павлушко».

Бабушка Агафья Павловна великая была труженица и молитвенница. Отец мой, сын её, прошёл всю войну, да вот остался жив... Меня родил, ещё двух братьев и двоих сестёр... Бабушка мне рассказывала тайком, что отмолила она сына своего у войны. Выпросила его у Лихи-беды бесконечными молитвами и неустанными слезами.

...Из морских глубин вздымаются, словно гигантские чудища, тяжёлые волны, нагулявшие силу на недавнем морском ветре. Сейчас ветра нет, но море всё ещё волнуется, словно большое рассерженное животное, ненароком растревоженное какой-то вероломной силой. Брызги от волн

не долетают до нас, и мы сидим с бабушкой Степанидой в совершенной безопасности.

— Баят, Павлушко, што жись, мол, раньше-то пригожа была, да справна. Чё в ей было-то? А нечо и не было! Тягось одна. Наревелась я в молодости-то. Батьку война сгубила, Матка моя больна вся была. Гробилась она, жёночка, а не жила. Скоро и померла. Одна я была, с братом только. Есть нечего... Траву, бывало, заваривали, да ели...

— Спас нас Семёнушко, родёменькой. Привезли его сюды опосля войны. Станцию их пригнали сюды строить, для элетричества. А на меня и глянуть-то было страшно доброму человеку. Худа, как палка, да зла на всех, как собака. А он, Семёнушко-то, на мя и поглядел... Чево-то, бажонной, распознал во мне. Не знай чего.

Бабушка замолкает на этом месте, наверно, оно ей по душе. Черты её старого сухонького личика вдруг распрямляются, разглаживаются, вот она поворачивается ко мне и смотрит на меня со смешинкой в кончиках тонких, завядших губ, глаза просвечиваются внезапно возникшей, вековечно спавшей в ней до этого радостью — воспоминанием о любимом человеке, о своей непогасшей во многих годах любви.

— Выходил он меня. Кормил меня, всё гладил, да кормил. И брата моего тоже. Спас он нас, спас! Ожила я с им, с Семёнушком моим!

Она смотрит на море глазами, полными слёз, и одновременно расска-

зывает, рассказывает... Вдруг смеётся громко, открыто, опять всхлипывает... Такие у Степаниды воспоминания: слёзы вместе с радостью. Это воспоминания о её счастье. Маленьком, но незабываемом. Она умолкает.

— А что потом было, бабушка Степанида?

Ей не хочется переходить к тяжёлой теме. На какое-то время она умолкает, потом обречённо машет рукой, куксится:

— А помер он, Семёнушко мой. В реку упал с плотины... Осень была, отогреться негде было, замёрз. Помер он, любушко...

Она задумывается о чём-то, вглядывается в море, будто там, внутри его живут, передвигаются, смотрят на неё оттуда люди и события, живущие в её воспоминаниях. Плечи её вздрагивают, словно от холода, что живёт в ней с тех пор.

Степанида вдруг встрепенулась, тряхнула плечами, будто сбросила с себя некий груз, посмотрела на меня и сказала, видно, что с гордостью:

— Зато я понесла от Семёнушка! Васенька родился, без его уж... А чево! Хорошой парнёк у мя вышел, Васятка мой. В Северодвинске живёт, лодки эти делат, будь оне неладны. Маму свою не забыват... Прикармливат... Радось он моя...

Степанида уходит домой. Шагает по песку, покачивается. Наверно, из-за высокого давления. А может, в такт волнам. Древняя, мудрая старушка. Как и сама наша деревня. С такой же

судьбой. А я остаюсь на брёвнышке. И на душе моей лежит печаль и светлый свет, оставленный бабушкой Степанидой. И всеми живущими

и ушедшими деревенскими стариками и старушками, развеявшими над Лопшеньгой этот добрый свет.

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ, НА КАЗАНСКУЮ

Обыкновенная поморская история

Ночью к бабушке Парасье пришёл Николай Угодник. Он стоял у неё в ногах худенький, невысокий, седой старичок с добрым лицом. Стоял и тихонько ей улыбался. Парасья совсем и не испугалась.

— Это ты пришёл-то ко мне, голубеюшко? — спросила она его. — А я тебе и рада.

Николай ничего не сказал, а только закивал слегка головой и стал махать к себе указательным пальцем. И Парасья поняла: он пришёл за ней и зовёт к себе. Стало быть, пора помирать. Бабушка проснулась. Давно уже Парасья не могла спать больше четырёх-пяти часов. С кряхтением и ворчанием насчёт «проклятушшой поясницы» подняла на локотки сухонькое тельце, выпрастала из-под тяжёлого старинного одеяла отогревшиеся только к утру ноги, обутые в длинные носочки из овечьей шерсти и, с немалым усилием повернувшись на бок, опустила ноги вниз, уселась на краешек кровати.

Перед нею было окошко, выходящее на море, на морскую даль. Но самого моря пока что не было видно в этот ранний утренний час поздней осени. В окошке стоял сумрак, слегка подсвеченный лежащим на земле тоненьким слоем первого снега. Поздним вечером, когда Парасья ложилась спать, слышала она стенания «стока» — как всегда крепкого восточного морского ветра, грохот волн, ударяющихся о камни, о прибрежную гальку. Постукивали стёкла в рамах. Под эти привычные с детства звуки она и уснула. А сейчас было тихо.

Снежок, вероятно, выпал под самое утро, когда сменился ветер. Он и сейчас всё ещё падал лёгкий и тихий, и снежинки в сумраке наползающего на деревню утреннего света, едва пока брезжащего, проплывали мимо окон, словно невесомый ольховый пух.

Баба Парасья весь свой длинный век не любила осень. Эти серые дни, эти вечные морские шторма, холод-

ные ветра, подкрадывающиеся под-
лой татью, и всё более кусающий
её старые ноги ревматизм. Особенно
тяжело переносила она неизменное
для осени и неминуемое для всего
белого света сокращение дней. Днев-
ной свет всё тусклее и короче, а ночи
неизбежно длиннее и мрачнее. В эти
длинные, бестолковые ночи мучила
её бессонница, когда приходилось
подолгу лежать, уставясь в невиди-
мый потолок, и вспоминать нелёгкую
свою жизнь, переливать из пустого
в порожнее разные, многожды об-
мусоленные уже события, думать
и думать, вздыхать о встретившейся
когда-то радости и вновь переживать
горечь ушедшей печали.

Сейчас, как и всегда, перешёл к ней
на колени из ножной части кровати
кот Мелентий, большой, пушистый
и тёплый и, утробно замурлыкав,
развалился поперёк ног. Кот жил
с бабушкой уже много лет и всякий
раз по утрам ложился Парасье на
колени. Где-то в дальнем углу де-
ревни прогорланил петух. Ему от-
кликнулся второй, третий. И словно
какое-то шевеление пошло по дво-
рам. В каком-то хлеву заблеяли овцы,
лениво затыкала чья-то собачонка.
Так было всегда, когда просыпалась
деревня. Кот Мелетий знал уже, что
Парасья сейчас начнёт подниматься
и перебрался опять на кровать. А ба-
бушка сползла на пол и встала на ко-
лени. Так, на коленях, она прошар-
кала к красному углу своей спальни
и остановилась перед иконами.

Слёзы текли теперь у неё сами со-

бой, когда она молилась. Наверно,
потому, что с годами обращение её
к Богу стало совсем искренним, про-
чувствованным. Вот и сейчас она до-
стала из кармашка ночного сарафана
платочек и промокнула глаза. Взор её
устремился в восточный угол, где на
широкой узорной полочке стояли об-
раза Спасителя, Казанской Богороди-
цы и Николая Чудотворца. Молитва
выплеталась из души её, и потому
была проста:

«Боже, всеблагий и всемилостли-
вый! Всех сохраняй своею милостию
и человеколюбием, и меня тоже. Вот
я приползла к Тебе опеть, старушка
бестолкова. Ума своего нету, дак хоч
у Тебя занеть, Боженька любименькой.
Дай Ты мне, голубеюшко, прошабар-
шить на белом-то Твоём свете хоть
бы един сегодней денечик, да пора-
деть миру, да людям. Силёнок-то во
мне маловатенько осталось, у корги
старой, да и глазоньки мои совсем уж
затускли, а всё хочу, дура едака, по
сторонам зыркать, да на морюшко
привольно глазеть. Ума нету, дак где
возьмёшь. Боже, Спасителю Ты наш,
помози Ты сыну моему, придурку
этому Генке в разум внити. Да штобы
пьянку мерзку бросил, галюза окаян-
ной, да к семье своей приник, им по-
кинутой. Совсем ведь ошалел, пьянь.
Вот, где, скажи Ты на милость, таперича
внучатки мои Лёнька, да Наташень-
ка? На кого он бросил их, срамник!
На Людку на свою, на шальну, глупу
бабу? Дак она така же рвань, да бе-
столковка, как и он сам, Генка мой.
Как бы не загубила она внучаточек

моих, кровинушек. Не пишут они мне чевой-то, окаянные. А я тревожусь за их, родненьких. Малы ведь совсем, а разум где им взять с такима батькой, да маткой? Помози Ты им, Господи не пропасть на путех твоих. Знаю ведь, что они разны бывают у Тебе, Господи Иисусе Христе. И раскокай Ты, Господи, на мелки стеколышки все бутылки у глупышей этих — у сынка моего Генки и у жёнки его Людки придурошной, штобы закончилась у их водка проклята. А я люблю Тебя, Господи, всеми силами, почитаю и поминаю вековечно, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь».

Раньше, в давние годы, Парасья Бога не верила. Причин тому было несколько. Во-первых, потому, что рано лишилась родителей, и некому было её вразумить. До пяти лет она жила в благополучной и набожной семье. У неё были отец и мать, брат и сестра. Всей семьёй по выходным они ходили в сельскую церковь, и маленькая Параша молилась вместе со всеми прихожанами Боженьке и всем святым и ставила свечечки перед небесными ликами. Отчего-то больше всех ей тогда нравился образ Святого Угодника Божия святителя Николая Чудотворца. С иконы, висящей на стене, на неё глядел седой старичок с глазами доброго и родного дедушки. Он будто говорил ей: «Приходи ко мне, девочка, я всегда помогу тебе». И маленькая девочка Параша отчётливо видела, как старичок на иконе радостно щурил глазки и улыбался ей краешками губ. Росту у Параша

не хватало, чтобы дотянуться до образа, и она просила отца поднять её от пола. Поравнявшись лицом с иконой, она нежно целовала полюбившегося дедушку.

Она говорила родителям:

— Он ведь живой! Вы что, не видите?

И удивлялась, что они в самом деле не могут разглядеть, как старичок улыбается и даже разговаривает с ней.

Прасковья плохо помнила тот момент, когда родители исчезли из её жизни. Зимой тридцать второго года она жила у бабушки в соседней деревне и простудила там бронхи. Чтобы ещё больше не захворала девочка, родители решили не везти её домой, и она осталась в тёплом бабушкином доме, коротала там свою болезнь. Пока Параша находилась у бабушки, родителей раскулачили. Отняли двух коров, коня Пеганка и растащили из дома всё имущество, а сам дом конфисковали. Маленькая Прасковья совсем не знала об этом, и бабушка ничего ей не сказала. Только почему-то плакала по ночам и днями тоже плакала. Когда Параша совсем выздоровела, она стала спрашивать бабушку, почему к ней не приезжают папа и мама и не забирают её домой? Ведь она так соскучилась и по ним и по братику с сестрёнкой. Бабушка только прикладывала платочек к глазам и гладила внучку по головке. И говорила ещё, что они уехали в гости к родным в другой город, но скоро приедут, обязательно приедут!

Не приехали.

Много позже Прасковья узнала, что родители давным-давно умерли в ссылке где-то в неведомой и далёкой стране Коми. А брат и сестра замёрзли ещё в вагоне для скота, в котором их перевозили зимой в сорокаградусные морозы по воркутинской железной дороге. Так она потеряла свою семью. И рана от этой утраты не зажила в её сердце никогда. Самое нелепое заключалось в том, что она за всю свою жизнь так и не поняла, в чём же заключалась вина погибших её родных, вечных тружеников? Остались у неё только сердобольная бабушка Марья Алексеевна, да отцов брат — дядя Гавриил, колхозный рыбак, плававший на сейнерах в Баренцевом море. Он время от времени навещал племянницу и приносил кусочки сахара и конфетки из Архангельска в цветных обёртках чудесной красоты.

Казанская Богородица глядела на неё в это утро как-то необычно. Всё было в её облике сегодня каким-то другим. Она также нежно прикасалась к любимому своему Чаду, стоящему перед Ней, также склоняла к Нему Свой лик, однако, взгляд Её, устремлённый на Прасковью, был сегодня незнакомым. Глаза Богородицы сияли необычайной теплотой, они лучились особенно проникновенно. Казалось, Матушка, словно давняя, любящая собеседница, стремилась сказать Прасковье что-то главное. С Её губ вот-вот должна была слететь какая-то благая весть, радостная

и тайная.

— Дак, это што же такое-то, Матушка? — заволновалась Прасковья. — Ты уж не таи, подсажи-ко мне чего надо.

Старушка стояла перед образом на коленях с распахнутыми от удивления и волнения глазами.

— Не пойму я Тебя севодни никак, голубушка. Не пужай-ко Ты меня, старуху стару. Дай лучше разума мне глупой, помоги уразуметь-то тебя.

Глаза Казанской светились добротой и тихой любовью.

Прасковья покачалась маленько на коленях из стороны в сторону, позыркала вокруг глазами. Взгляд остановился на коте. Тот лежал на коврике рядом с ногами. Глаза его отражали мерцающий огонёк лампадки.

— Мелентий, подсажи-ко ты мне, чего это Богородица сказыват? Может, ты чего толкуешь, огудан?

Но старый, хитрый кот отмолчался, а лишь сощурил свои узкие глазки, и блеск лампадки в них погас. Прасковья опустила голову, помолчала. Потом вдруг вздёгнула подбородок, выпучила глаза и с кряхтением, держась руками за столешницу стола и за стул, стала подниматься и ворчливо завывоваривала:

— От уж, Матушка, дожила-то я до форменной глупости-то! Как же забыть-то могла, дура стоеросова: у Тебя ведь праздник завтра — день иконушки Твоей Казанской! От шаль-то кака! Ты-то мне сказывашь-сказывашь, а я в толк-то и не возьму! Шаль, дак шаль и есь! Не приве-

ди Господи кому ишше докорябать до этого-то сраму!

Она доковыляла до отрывного календаря, висящего на стене, аккуратненько задрала кверху передний листочек и перед ней открылась дата — 4 ноября. Не оформленный никаким другим цветом, ничем не выделенный листок. Но бабушка наизусть знала и помнила все основные церковные праздники. И было ей известно, что в этот день, благодаря Казанской иконе, русские войска победили врага в какой-то войне. С тех пор эта дата почитается как великий праздник. Бабушка Прасковья всегда считала икону эту самым красивым изображением Богородицы и особенно бережно хранила образ, доставшийся из разорённого отцовского дома. Всегда ввечеру этого дня надевала она самолучшее платье, становилась перед иконой и читала ей молитву. Потом выпивала рюмочку «винча» или же стакан браги. И целовала милый сердцу образ.

— Приду я в церкву, Матушка, да поздравлю Тебя, — сказала она и в этот раз, — ежели, конечно, ноги мои стары донесут.

Она повернулась к иконе, развела в стороны руки и сказала открыто, по-доброму, хотя маленько и ворчливо, сказала доверительно, как доброй соседке.

— А вот так теперича стало, любушка. Еле-то волокусь. Ножки мои совсем худы стали, не слушают меня оне.

Бабушка прослезилась, подня-

ла край фартука, промакнула глаза и махнула сухой ручкой:

— А к Тебе-то приду, Матушка. Ноги не понесут, дак ползком приползу. Мила Ты мне, страхи Божьи как. Всю-ту жись помогашь Ты мне, голубушка.

Хоть и стояла в окошках темень, просыпалось и расползалось по небу над деревней утро. И надо было обряжаться. Уже звонче, громче и нахальнее голосили на поветях петухи, азартнее тявкали окончательно проснувшиеся собаки, переругивались старые враги — кобели, знавшие друг друга по голосам. Лай их перемежался злобным лютым рычанием. И это добавляло азарта в общий собачий гвалт. Похрапывали в конюшенных стойлах кони. На скотном дворе начали дружно мычать бурёнушки, требующие корма и утренней дойки. Послышались первые людские голоса, стук топора... В воздухе раннего утра повисла новая музыка деревни. Деревня просыпалась. Шаркая тёплыми овечьими чунями с меховыми отворотами, Прасковья добрела до печки, старой, такой же древней, как она сама, но ещё верной работницы, дающей дому тепло и готовящей ежедневную еду для хозяйки и скотинки.

— С тобой-то всяко не заколею, теплушка ты моя тёпленька, — разговаривала с ней Прасковья и гладила шершавый выбеленный угол.

Сейчас она достала с лежанки нащипанный с вечера пучок лучин, просохший, скрипящий и тугой, сохранивший тепло кирпичей. Заодно

открыла сбоку печной трубы дверцу заслонки, достала вьюшку, перекрывающую дымоход. Теперь можно затапливать печь. Она отодвинула заслон, открывающий печной зев, достала из-под печки старинную деревянную лопату с длинной ручкой, которой укладывают в печь поленья, противни с пирогами да шаньгами, положила её широкой частью на шесток, зажгла с краю, повредила маленько, пока разгорится и уложила поперёк самого конца лопаты пучок лучин и плавно просунула его в печное лоно, в глубь кирпичной бочки. Огонёк осветил печную внутренность. Там находился уложенный ещё с вечера костерок из просохших поленьев. Под углом костерка она и разместила горящие лучинья. Прилегла на шесток, загляделась на то, как огонь переходит от лучин к дровам, как внутри её печи зарождается жизнь пламени. Ей всегда нравилось это завораживающее зрелище.

В деревенском доме всегда вдовсталь должно быть варёной картошки. Рядом с занявшимся огнём Прасковья с помощью ухвата выставила чугунок, заправленный доверху свежими сейгошными клубнями, залитый подсолёной водой. Потом к огню «прижала» ещё один чугунок с крупой-пшёнкой, залитой свежим коровьим молоком, только что со скотного двора, со вчерашней вечерней дойки. Пшённая каша — любимое бабушкино кушанье.

А из хлева уж давненько всю доносились блянье Парасьиных овец,

ждущих её внимания и требующих еды. Они внимательно слушали шаги хозяйки по дому и звали её к себе.

— Чичас — чичас, — громко урезонивала их Парасья, че расшались-то, ошкуйки. Померете с голоду, как же... Упряг не можете погодеть...

А сама хмурилась и улыбалась. Её овечки, милашки эти — это её радость, это её семья. А ноги её тем временем обихаживал, оглаживал их спинкой своей и тёплыми боками любимый и донельзя забалованный кот Мелентий. Он просовывал своё жирненькое тельце между парасьиных щиколоток, задирал голову кверху, заглядывал ей в лицо и выговаривал по-человечьи (Парасья за много лет совместной жизни убедилась, что кот её понимает весь человеческий разговор и даже умеет разговаривать):

— Ты дала бы мне покушать-то, Параня, ты же видишь, я голодный хожу с утра. Исхудал вот совсем!

А бабушка, видя эту хитрую, нахальную и любимую котовью морду, выговаривала то, что высказывала Мелентию кажинное утро:

— И не стыднова тебе, а, нахлебнику, у бабки кланчить. Вон, пошёл бы на поветь, да мышку бы хватанул каку, да смячкал бы, толста морда. Хоть бы толк от тебя был какой, от толстяка. Выгоню вот из дома, как обещшала, дак узнашь...

Мелентий понимал каждое хозяйкино слово и прекрасно знал цену этих угроз. Цена их была — ноль рублей, ноль копеек. Хитрый кот танцевал вокруг ног хозяйки, нежно гладил

их и мурлыкал что было мочи. Матёрый котяра, давший жизнь десяткам обитающих в деревне котов и кошек, он понимал толк в женской любви и наверняка знал, что обожающая его хозяйка никогда не выгонит его на улицу — на издевательство глупым и вредным собакам.

Он перестал жалобно приплакивать лишь над мисочкой с подсоленной селёдкой и над блюдечком с молоком, разбавленным хлебными крошками.

А овцы всё взблеивали и всё звали Парасью к себе.

— У, прорвы ненасытны, всё мало им, сколько не вынеси, — поворчала старушка и стала готовить пойво.

Она вылила в ведро два выставленных из печки чугунок тёплой воды, вывалила туда всё, что только можно было вывалить. Три пригоршни заготовленных и хранящихся в чуланном мешочке сухарей, хлебные корки, картофельную кожуру, старую картошку, которой вдосталь осталось сейгод в погребе после прошлой зимы... Сверху бросила охапочку душистого сена с самолучшей пожни на ручье Ржавце. Перемешала всё это узловатой палкой, специально для таких целей хранящейся в подпечке. Пойво вкусно запахло луговой травой и разваренным хлебом. Кряхтя и ворча, Парасья приподняла ведёрко, дошаркала до двери, что вела на поветь. Сразу за ней сняла и сменила меховые пимки на галоши и, держась левой рукой за древнее перильце, сделала первый шаг вниз,

в хлев к своим овечкам.

— Чига-чига-чига, — сказала она ласково, — поите, чигушки, поите-ко суды, бабка поись вам притащила.

А тем особое приглашение и не требовалось. У овец началось форменное столпотворение. Они выпрыгивали ей навстречу, танцевали на хлевном полу. Скакать по ступеням у них не хватало умения, и дальше первой ступеньки подняться они не могли, но шум и толкотню устроили невероятную. Так было каждое утро, и Парасья давно приноровилась к овечьиным танцам. Медленно и степенно, громко ругая бестолковых своих животных, она дошла до последней ступеньки, оставила чуть сверху ведёрко с пойвом, наклонилась, держась одной рукой за лестничный столбик, другой подтащила поближе старое корыто, стоящее поодаль на полу, служившее хозяйкам, наверно, уже не одну сотню лет, потом, полусогнувшись, достала ведро и вылила всё пойво в корыто. Овцы, все пятеро, мигом обступили кормушку и, немилосердно чавкая, толкаясь и откашливаясь, принялись уплетать бабушкину еду.

В углу стояла лопата и ещё одно ведро, грязное, облепленное всяким мусором. Парасья лопатой поскоблила пол в хлеву, убрала за овцами всё, что скопилось за ночь, потом сгребла в кучку навоз и лопатой переложила в ведро. Затем взяла берёзовый голик, прислонённый к стене, пошаркала им пол, и собранный мусор тоже переложила в ведёрко. Вскоре поняла

она, что кончились силы для работы в хлеву, не было больше моченьки открывать на улицу тугую дверь и идти опять к навозной куче. Парасья поставила ведёрко в углу и решила: «Вечером вынесу». Вернувшись в избу, она долго плескала из рукомойника на руки воду, потом взялась за самовар. Заправила свежей водой, из морильницы набрала углей и засыпала в самоварную горловинку. Старым тесаком нащипала лучинок из сухого полешка, взяла их в пригоршню, подожгла снизу и аккуратно высыпала горящие лучинки на угли. Положила сверху два уголька и поставила самоварную трубу. Другой конец трубы ушёл в отверстие, ведущее в дымоход. Чрево самовара затрещало и начало готовить для Парасьи кипятки. А у самой Парасьи уже не было сил. Она прилегла на лежанку и стала слушать, как греется самовар. Когда тот зафырчал и забулькал, она кое-как поднялась, подошла к иконам и помолилась. Потом позавтракала — поела картошки со свежепросольной селёдкой. Парасьяина картошка была самолучшей в деревне — рассыпчатой и нежно-белой. В деревне по этому поводу многие хозяйки завидовали ей и клянчили дать на рассаду. А Прасковья и не скупилась. А селёдку — полную трехлитровую банку — принёс с рыбзавода окаянный её внучатый племянник Толька, шарамыжник и нагольный выпивоха. Как он раздобыл её — эту желанную селёдку, кто ему дал её и за что — неизвестно. С другой стороны — принёс

и принёс. И честно заработал у Парасьи поллитровую банку янтарной, выдержанной бражки. После завтрака, после чая с черничной калиткой бабушка опять прилегла отдохнуть. Очень она устала за это утро.

Всё детство она и прожила у бабушки Марьи в соседней деревне. Та была в стареньких годах, изрядно немощна, и получилось так, что житьё-бытьё маленькой Параси в бабушкином доме основательно подсобляло Марье Алексеевне в содержании хозяйства. Клопик совсем, а уж возила на шалажках кадушки с водой из проруби, полешку за полешком носила на слабеньких ручках домой дрова из засыпанного снегом дровенника. Ходила с бабушкой в лес за грибами-ягодками.

— Далеко в лес не ходи, девка, — останавливала Парашину прыть бабушка Марья — тутогде волк живёт, зубастой да страшной. Кусить тебя он может, еретик. Сторожно похаживай, девка.

— А где он живет-то, проклятой?

— Вон тамо где, в том вон кусту посиживает, змеинно рыло, — и она показывала на какой-нибудь куст около дальних деревьев.

Параша тут же бежала туда, подбегала к кусту, замахивалась на него корзинкой и, сооротив страшное личико, кричала:

— Уходи отседова, поганой, не пужай нас с бабой Маней. А то мы тебя уж чичас палкой стуконём по твоей башке.

Крадучись, она обходила куст, громко ругалась и возвращалась.

— Баба, там нету ево.

— Дак, кого така девка не припужат? Он и усвистал от тебя. Озарко ему стало окаянному.

Сказывала так бабушка Марья, а сама отворачивалась, чтобы не увидела внучка её хихиканья. Одежда для Параша шилась из бабушкиных обносков: платица, юбочки, фуфаечки — всё шло в дело, и всё мгновенно изнашивалось. Баба Маня не успевала зашивать дырки во внучиной одежонке — та постоянно лазила незнамо где с деревенской шантропой и беспощадно драла бабушкино рукоделье.

— Ну-ко, Парасья, одень-ко, че и получилось-то не знай, — говорила она внучке, протягивая вновь налаженную юбочку.

Девочка надевала через голову обнову, выпрямляла головку и крутилась заведённой юлой перед бабушкой и перед старым, засиженным мухами зеркалом.

— До чего фасониста девка у нас вырастат! — выговаривала Марья и звучно чмокала губами. — Все-то ребята наши деревенски за тобой побежат, за любушкой за ендакой.

А та подходила к бабушке, обнимала её двумя ручками за шею и начинала плакать оттого, что её, такую красивую, не видят папа и мама, не любят её.

— Да приедут оне сюды, куда денутся, ты погоди только маленько, девка, — так обычно отвечала ей

бабушка и, полуотвернувшись, тихо плакала и вытирала слёзы краешком платочка. Однажды, когда Параша сидела с бабушкой на кухне и старательно перебирала костяные спицы — училась вязать носочки и протягивала шерстяную нитку из рядочка в рядочек — к ним на вечерние посиделки зашла соседка Полинарья Калинична. Разговор двух закадычных соседок отчего-то запомнился маленькой Паране.

— Слыхивала я, Лексевна, ште колхоз-от наш корабель зачал строить.

— Какой ишше корабель?

— Правленье колхозно было, и бают, ште на ём порешили самим парасход тюкать. Ды прямо, говорят, в деревне нашой и городить ево будут.

— А к чему ето? В Архангельской город, штели, всема поплывём?

— Да не, Лексевна, на правленье хто был, дак сказывают: колхоз таперича сам селёдочку да тресочку ловить намереваичче. В народи-то трешшат: самим, мол, денюжку надо заробить.

Потом в вечерних чаепитиях вопрос о «корабеле» вставал неоднократно. А однажды бабка Калинична принесла новую весть и так о ней высказалась:

— Шаляки-то эти, плотники — лопшари, глупыши-то эти, будто бы матерьял для корабеля-то забирают с кладбишша. Кресты, которы понове, на клинья, да на нагиля растюкивают, да на всё разное. Шаляки, да кшальяки и есь. Равзе корабель этот долго про-

плават, коли оне могилы разоряют! Как бы люди-то не сгнули с этого шальства...

И ещё памятно были для Парасьи разговоры и плач по всей деревне, когда пришла весть о том, что в Баренцевом море, в акватории Мурманска, погибло в шторм моторное судно «Лопшеньга». Штормовое море выбросило судно на каменистый берег и разбило его в щепки. Команда из девяти человек — все местные деревенские мужики — замёрзла на берегу. Попавшие в беду рыбаки не дошли до ближайшей деревни около двух километров. Были они промокшие насквозь, а стояла зима, зима 1936 года. Нашли их всех на берегу «по цепочке». Замерзал на ходу в ледяной одежде и падал один рыбак, потом через сотню метров другой... Так погибли все. Много лежит погибших поморов в пустынных шхерах Шпицбергена и Новой Земли, на никем не посещаемых берегах Ледовитого океана. Другой судьбы не было у мужиков. В море всё равно надо было ходить. «В море холодно, а без моря голодно».

Погиб на том боте, на ледяном берегу и горячо любимый маленькой Прасковьей родной её дядя, брат отца Гавриил, который тоже любил её и баловал городскими гостинцами.

— Накаркала ведь клуша стара, — кляла соседку Полинарью бабушка Марья, — взаправду ведь сгнули робытки наши. Подись-ко ты, каково оно сдеилось-то, не приведи Осподи.

Так она потеряла ещё одного близ-

кого человека.

Морские ноябрьские ветра — это вам не шутки какие. Так, бывает, задуют, засквозят, завертят над деревней леденящую сырость... С утра сегодня вроде бы тихо на улице, а надёжи на погоду всё равно никакой нету. Что будет через час? Куда море вывернет погоду? Одно море и знает.

Мелентий будто на часы глядел: поднялся на лапы на кровати, сладко, с лёгким хрустом потянулся во всю длину матёрого котовьего тела, длинно зевнул и соскочил с кровати на пол. Тут же стал ходить взад и вперёд от кровати до дверного порога и обратно. И стал ныть противно и протяжно. На часы можно не смотреть — это около половины девятого утра. Кот знает: хозяйка в этот час выходит из дома на морской берег.

— Экка ты занозина, уж не дашь бабке и подремать-то маненько, — сказала ему привычные добродушные слова хозяйка, — не стыдно роже-то твоей толстой бабушку свою будить.

А вредный кот похаживает и ноет так, будто ему на одно место наступили и не сходят. Всё равно не отвяжется. Надо бабушке вставать, хотя тяжесть сегодня во всём теле необычная, прижимающая к земле. А старое тело, хоть и ломота во всех суставах, будто растворилось в уюте древней постели, во всех её привычных вмятинах. Тело совсем не желало двигаться.

Кое-как, охая, приговаривая: «Не

приведи Ты, Господи, ету старось», она сползла с кровати, стукнулась коленками о пол, потом, опираясь о кровать, кряхтя, поднялась на ноги и стала одеваться. Первым делом натянула она крепкие и добротные мужские штаны, конечно, сильно укороченные ею, которые ссудил по доброте своей душевной внучатый её племянник Толька. Всё же мужская одежда надёжнее согревает тело, чего там говорить. Доковыляла в штанах до печки. Стянула с краю лежанки нагретые за ночь и просохшие катанки. Потом села на печной приступок и, с великим усилием впихивая штанины в голенища, кряхтя, натянула катанки на старые свои ноги. Была эта обувь настолько древняя, что Парасья помнила только, что они полевые, выклянченные у почтарки Аккулины. Та же, в свою очередь, выторговала их у проезжего офицера за десяток солёных трешшин.

Зато почтарке Аккулине досталось два ведра мочёной брусники. Катанки эти, теперь подшитые-переподшитые, представляли из себя в эту пору два неуклюжих, бесформенных, огромных и тяжёлых шаршака, но Парасья дорожила ими очень за их подхожесть к ногам, их чрезвычайную домашнюю теплоту, уютно согревающую больные её ноги.

Судя по холоду, разлитому по повети, да в избе над самым полом, было ясно, что на улице пока ещё стоит ночной морозец и, стало быть, не надо напяливать на катанки калоши — Парасья терпеть не могла этого

трудоёмкого занятия. Да ещё снежок пал, слава Богу... Бабушка закутала голову толстым шерстяным платком, кое-как сунула руки в телогрейку и с превеликим трудом оделась в просторную балахонистую фуфайку, застегнула все три пуговицы. И, тяжело переваливая ноги, немилосердно шаркая, вышла на улицу. Вместе с ней вывалился из дома неуклюжий от старости кот Мелентий. И тут же, поторапливаясь и со сна взбрыкивая, устремился за дровяной костёр, чтобы совершить свои неотложные утренние дела.

Стояла пасмурная благодать деревенского утра. Ночью на дома, на улицы пал морозец, выстудил в корку землю, и выпавший к утру снежок похрустывал под ногами, словно рассыпанные по земле сухарики. Наползающий на деревню рассвет, хоть и корявый, туманный и холодный, начал потихоньку серебрить утреннюю стынь. Уже видны были очертания ближайших домов, изгородей, и, хоть и в слабом свете, виден был проулок, ведущий к морю. Это и был ежеутренний путь старой Прасковьи.

Падал на деревенские улицы горьковатый и такой привычный, и такой желанный печной дым, вываливающий из труб, и создавал ощущение уюта и радостное осознание того, что ты в родной деревне, что ты дома.

Прасковья, в силу суровости быта и извечной привычки поморских женщин скрывать на людях свои эмоции, не демонстрировала никому любовь ни к деревне, ни к одно-

сельчанам, но страсть как любила выходить вот так вот, ранним утром, из дома на улицу, вдохнуть полной грудью тёплую, сладковатую горечь дыма, висящего над деревней.

Ещё она очень любила море. У неё было на берегу своё заветное брёвнышко, на которое она и усе-лась. Оно торчало сбоку, в самом низу ядрёного, хлыстов в пятьдесят, штабеля. Брёвна были накатаны из воды, лежали тяжёлой массой друг на друге, и, когда Парасья садилась на своё, они надёжно защищали её от северного ветра, ежели такой поддувал. А со спины, как нарочно для её удобства, торчала из штабеля ещё одна нетолстая слега. На неё удобно было опираться старой Парасьиной хребтинушке. На море стояла тишина. Невысокие, но тяжёлые, покатые волны качали густую шугу, и она шелестела по всей прибрежной шири, шумела, словно горох на пергаментном листе. Слегка плёхала на твёрдый, утрамбованный волнами заплесток покатающая волна. Уже за самой береговой кромкой море терялось в смутной утренней темени. И всё же видно было, как плывёт и плывёт вдоль берега большая стая тёмных и белых уток — гаг и самцов их — гахунов. Слышала Парасья, как шумно они плещутся, как переговариваются друг с другом. И проглядывал с южной стороны в невысоком небе, пробивался сквозь сырое морское марево тусклый, скособоченный, неровный круг утренней луны.

Как обычно, пришёл к ней и улёг-

ся поодаль, под брёвнами домашний кот Мелентий. Пару раз приветливо мяукнув, он улёгся в привычную, давно умятую лунку. Уже много лет он ложится в одно и то же место. А Парасья, как всегда, стала вглядываться в море. И, хотя за толстой, сырой теменью трудно было разглядеть морскую даль, она напрягала глаза и всматривалась, и выглядывала очертания горизонта... Но пока что ничего не было видно.

Уже много-много лет Парасья смотрит в дальние морские просторы. И всё надеется, что там, на морском краешке, покажется какая-нибудь лодчонка и подплывёт она к берегу, к ней, старой Парасье, и выйдет из неё молодой да статный — каким она его запомнила — суженый её, муженёк её ненаглядный, Петреюшко. И обнимет её. И скажет:

— Давненько не видел я тебя, любушка ты моя, Параня.

Однако, и в это утро лодочки не видно было в туманном море.

Уже прошло много-много лет с тех пор, как Парасья потеряла окончательную надежду на появление этой вот лодочки на морском горизонте, но, наверно, в том и заключается женская поморская долюшка, чтобы ждать и ждать, хотя и не осталось никакой надежды.

Давненько-давно потеряла она дружка своего сердечного, Петра-Морехода. Росли они вместе. Только он был на пять годов старше её. Воевал и ранен был. Вернулся с фронта, когда война ещё не закончилась:

списали по ранению. Была у него насквозь пробита грудь снарядным осколком. Но как-то выжил он. Выпи-сался из госпиталя, из Польши, где ле-чащий пожилой военврач сказал ему:

— Крепкий ты парень, помор Пётр. Скольких я знаю с таким ране-нием, все померли, а ты вот живой. Наверно, ангел у тебя есть какой-то, спасает он тебя.

— Имеется такой ангел. Параней зовут.

— Хорошее имя, крепкое, — ска-зал военврач. — Вот и поезжай к ней. Вылечит тебя твоя Параня. А тут больные одни, микробов много. За-киснешь тут.

Он погладил бинты на груди сол-дата и добродушно добавил:

— Поезжай, парень, к морю сво-ему. Там воздух целебный, там и на ноги встанешь.

А на родине, в родном доме, анге-лочек по имени Параша не отходила от него. Обихаживала, как могла: от-паивала старинными деревенскими снадобьями, массировала солдату грудь, чтобы включились в работу израненные, изорванные осколком лёгкие. Было ей тогда шестнадцать лет.

Когда Пётр, отказавшись от брони рыбака-промышленника, уже в се-редине войны добровольцем уходил на фронт, ей только-только исполни-лось четырнадцать. Он подкараулил её около дома и, волнуясь, сбивчиво, но твёрдо заявил:

— На войну иду я, девка, дак ты знай: втюрился в тебя я, спасу нету

как, кабудь глупой какой. Желанна ты мне вот и всё.

Парасья хотела убежать, да куда там, держал он её крепко за руку.

— Ты, вот што, красава... Ты, ето, дожидайсе меня. Соблуди себя... Об-жениться хочу с тобой...

Скулы его ходили, будто редьки он наелся горькой. Пётр волновался. Дыханье было горячим.

— Парашка, я тебе вот что ска-жу: ежели приду, а ты сгульнула тут с кем-ниабудь, прикончу его и тебя, дуру, тоже прикокну. Понимашь, аль нет?

Параша совсем и не испугалась. Этот взрослый парень всё время как-то странно-приветливо на неё взглядывал. Да и сам он нравился ей статью, молодой бесшабашностью, явной силушкой, белобрысой своей шевелурой.

Но это был серьёзный разговор, и она не была к нему готова, Параша была совсем ещё девчонкой. Такой разговор с парнем был первым в её жизни.

Она не знала тогда, что так выстра-ивается любая человеческая судьба.

Потом она получала от него сол-датские треугольники, и писала ему сама. Эти письма, эта почти детская, но искренняя и честная бумажная связь принесла ей первую и един-ственную в жизни сильную и насто-ящую любовь. Настолько сильную, что любовь эта, пронесённая через годы, и сейчас согревала её старое сердце. К семнадцати её годам Пётр поднялся с постели, начал понемногу

заниматься хозяйством и стал звать к себе.

И Парасья ушла к нему и стала жить с ним, в его доме. Как и должно быть, поползли по деревне суды-пересуды, но им с Петром было всё равно. Всякая любовь занята только собой, она ничего не видит вокруг. Злость и зависть отскакивают от неё, как мелкая дробь от стальной брони. Вскоре они сыграли свадьбу. Потом у них родился сын Геннадий, любимый их сын.

Пётр ходил в море, ловил рыбу на тральщиках, сыночек Гена ходил в школу, рос справным, тихим мальчиком, правда, каким-то малохолдным, слабовольным, что ли? А Парасья работала дояркой. Всё было, как у людей. По вечерам, после фермы, Парасья летела домой с ведёрком молока. И муж и сын сильно были до него охочи. А она и старалась. Парасья была счастлива в той жизни.

А потом Пётр погиб. Их тральщик ловил треску в Атлантике. Однажды, когда спускали в воду трал, один неопытный рыбак поскользнулся на сырой палубе, и нога его попала в убегающую в море снасть. Рыбака понесло в воду. Пётр бросился его спасать, но его самого унесло в море вместе с тем рыбаком. Тогда прекратили замётывание трала, судно ходило взад и вперёд, но выпавших за борт не нашли. Парасья не помнит тех дней, но ей сказывали потом, что ходила она, как полоумная по морскому берегу с распущенными, растрёпанными волосами, и вопила в морскую даль:

— Петрушенька-а-а! Пльви-ко суды, родименько-ой! Пошто далеко в морюшко-то заплы-ыл? Потонешь ве-едь!.

Беспамятство не скоро покинуло её, но и потом, уже в светлом рассудке, Парасья часто-часто ходила по морской кромке, взглядывала на морской горизонт и чуть слышно шептала:

— Петрушенька, родеменькой ты мой, пошто бросил-то меня одну? Тоскую ведь я без тебя-та. А и жить-то без тебя не хочу совсем, желанной ты мой...

Если бы не сын Геночка, наверное, и не жила бы Парасья совсем. Вот и сейчас, в это раннее, хмурое утро поздней осени, смотрела она, как над морем еле-еле поднимался рассвет, как утренняя светлость робко наползала на воду, пласталась на ней и отодвигала вверх, к небу, лежавшую всю ночь на море темноту. Вот уже прояснялась морская даль, становились видны очертания горизонта. Старая Парасья всматривалась туда, в это просветлённое пространство и шептала:

— Не возвернулсе ты ко мне, Петрушенька. За всю-то жись мою не пришёл... Ждала ведь я... Ну, дак я сама к тебе явлюсь. Скоро уж. Изболелась я без тебя... Скорее бы уж на тебя поглядеть, на любушку на моего.

По морщинкам её, как по глубоким речкам, текли слёзы, и Парасья утирала их краем своего толстого платка.

Над морем стояло уже серое утро,

и Парасья собралась уходить с берега домой. Мелентий, старый лодырь, тёрся толстыми боками о её ноги, протяжно мурлыкал. Коту надоело лежать на песке в брёвнях на морском ветерке. Ему хотелось в домашнее тепло. А хозяйка его всё глядела куда-то и глядела, высматривала чего-то в морской дали. Коту это очень уж не нравилось.

Кто-то шёл к Парасье по берегу, какая-то женская фигурка с корзинкой в руке, закутанная от ветра толстыми одежонками. Концы широченного платка перекрещивались на груди и были перевязаны на спине узлом.

Впрочем, не надо было дожидаться, когда женщина подойдёт близко. Уже издали Прасковья поняла: это бабка Евдоха — Евдокея Анфимовна, старая её товарка. Ни походки перевалистой не перепутаешь, ни скрюченной, придавленной к земле фигуры. Евдоха шла по полосе выброшенных морем водорослей, собирала анфельцию, складывала её в корзинку. Перед тем, как положить, каждую турина старательно выколачивала о корзинкин бок.

Парасья любила Евдоху, почи-тай что с детства. Они вместе росли и не то, чтобы дружили, а всегда как-то тянулись друг к дружке. Тем более, что Евдокея была завсегда доброжелательной, неизменно доброй и в любом деле безотказной.

— Здравстуй-косье, Евдокея, — по-приветствовала её Парасья, — до чего же ты, девка, жадна до денег

к старости-то своей стала. Всю туру хошь с берега сгрести, да никому и не оставит. Други-то люди тоже хочут денежку получить. Да, разе ты им дашь, скупяшша ты — страсть.

Бабка Евдокея присела, на чём стояла, на анфельцию, поправила двумя руками платок, затянула потуже узел и в долгу не осталась. Она выпрастала из платочных закулём и высунула вперёд острый свой носик и тоже нашла острые словечки:

— Ты, Паранька, чево? Из-под брёвен выскочила штё ли, аки ведьма кака. Ты пошто людев-то пужашь, стара бабка. Я ведь не сначала, в те мени экакой разе увидишь?

Потом они сидели вдвоём на брёвнышке, две старушки, прошедшие вместе жизнь. В эту утреннюю прохладу было им маленько зябко, и они сидели, прижавшись друг к другу старческими боками, сидели и долго судачили. Вспомнили, как росли без отцов, как тяжело им было, малым девчонкам, как работали в колхозе от утренней до вечерней зорьки.

Евдокея высказала главное, наболеее:

— Мы с тобой, Парасьюшка, колхоз-от строили, строили, сколько силушки потратили на ево... А таперица и нету колхоза.

Посидели они, посетовали на времена, на то, что многое ими созданное — пошло прахом. Нет больше рыбокомбината, нет рыбзавода, маслозавода. Разрушен прибрежный лов, скоро зарежут последних коров...

— Пора така пришла, чего поде-
лашь. Всё до конеча подходит, — по-
дытожила беседу Парасья. — Дак и мы
с тобой, подруженька, туда же шагам.
Скоро уж пропасть наша.

— А я бы, Парасьюшка, ешшо
бы пошаркала маненько, — сказала
скрюченная донельзя Евдокея, —
у меня ета, как её, годовшшина скоро
уж. Хочу на ей попеть да поплясать.

— Плясунья, едри ты, — хмыкну-
ла Парасья, — с твоей-то поясницей
только и прыгать. Помрут люди-то
со смеху. Пляшешь, а сама носом по
полу водишь.

И добавила серьёзно:

— Дак, хоть бы ты и поскакала
бы, Дуняша, дак в радость. А я, дева,
отпрыгала свою кадрель. На погост
собралась я. Петрушу свою повидать
хочу.

Для Евдокеи эта новость была
не в радость. Она замахала руками,
запереживала:

— Чё удумала, глупа ты, Параш-
ка! Очумела, аль как! А мне куды?
Мне-то как, подумала ты? Всю жись
ведь с тобой!

— Всё, подружка моя, нажилась
я, хватит уж... Севодни ночью Нико-
лай ко мне приходил, Угодник. Звал...
Хватит, нажилась...

Евдокея осознала, что разговор-то
идёт серьёзный. Она вдруг шумно
зашмыгала носом, запричитала:

— Не шалей давай, Парасья! Я на-
перёд должна, я всяко постарше те-
бя-та, на год, считай! Эко ты вперёд
пехаессе, торописсе порато. Меня
пропусти, потом и пехайсе, шальна

баба! Не суйсе без спросу!

Парасья высморкалась в платок,
глянула на Евдокею серьёзно и ска-
зала:

— Прибери меня, как помру.
У меня всё собрано, отышешь в шкап-
чиках.

Вернувшись в избу, Парасья, с пре-
великим трудом волоча ноги, дочапа-
ла до кровати, тяжело рухнула на неё
и сразу же уснула. Но спать довелось
мало — всего полчасика, у неё было
много дел. Перво-наперво надо было
истопить баню. Сегодня ведь суббо-
та — банный день. Да и постирки на-
копилось, а это тоже забота и труд,
тяжёлый для неё — старушки. Но по-
мыться было надо обязательно, это
Парасья понимала крепко. Банька
её — не совсем ещё развалюшка —
находилась на другом конце огоро-
да. Построенная лет двадцать назад,
крытая толстым тёмом, почерневшая
от солнца и сырости, подгнившая
в первых венцах, она стояла, при-
плюснутая временем, но вполне ещё
крепкая и тёплая. Парасья вползла
в её старое чрево и села на стульчик
справа от печки. Так и есть: дров все-
го три полена. Наношенные в преды-
дущий раз три охапки уже сгорели,
а воды в баке — над самым доньш-
ком, ведра под «холодёнку» тоже пу-
сты. Ну, куды ей, древней старушке,
справиться с экой тяжестью — с во-
дой, да с дровами. Надо теперь будет
конаться к злыдню этому, к Тольке,
двоюродному племяннику ейному.
Считай, бутылка опять и ушла. Без

неё, проклятой, и пальцем не пошевелит. Нахлебник он и пьяница — вот и весь разговор. Что тут делать? Дошла она до общей с ним огорода, благо, что рядом она. Опёрлась двумя руками о верхнюю жердину.

— Анатолюшко! — крикнула, что есть мочи.

В ответ — ни гугу. «Спит, опять, змееватик, дрыхнет со вчерашней квасни, чучело», — подумала она о родственничке. Надо было кричать громче. В обход, к калитке, ко крыльцу шаркать было очень далеко, не под силу ей. Да спотыкнешься, не приведи Господи. Нет, надо звать орудана, чего больше.

— Племянничок мой, где-ка ты, голубеюшко, а? Выдь-ко к тетушке-то свое-ей. «Верно, нахряпалси вчерась, синюшник. От, шалабудина... Морды своей пьяной от подушки отодрать не могёт. Скольки не налей, всё выжрет, галюзина».

— Толюшка-а!

И вот на белый свет вылез Толька. Вернее, суксившаяся физиономия его, непроснувшаяся и недовольная — лицо человека, оторванного от важных дел. Анатолий стоял, придерживаясь рукой за угол и маленько покачиваясь. Обескураженные, рассеянные глаза его глядели в размытое пространство. Вероятно, он пытался сфокусировать взгляд, но у него это явно не получалось.

Наконец, он увидел свою тётушку, стоящую у забора и размахивающую руками, и взгляд его осмыслился.

— Чего, тёта?

Всё! Разговор начался, и Парасья его сразу приструнила.

— Дак, ты подойди сюды-то, охломон, ядри ты, мне, поди-кось, чижало, бабке-то, на всю деревню орать.

Толька подходил нетвёрдой походкой, но всё его нетрезвое тело всё же настойчиво двигалось вперёд и выражало готовность пособить своей бабушке чем только можно. Толька всю жизнь искренне любил её. Ведь Парасья всегда дарила ему лишь добро, жалела его, поддерживала материально и стряпала пироги, кулебяки и всякую другую еду. Кто бы ещё алкоголику так в жизни помогал?

— Баньку бы мне истопить, Анатолий. А у меня ни водины, ни дровины.

Багровая Толина физиономия становится совсем уж тёмной и кислой. Да куда же ему деваться. Он молча машет рукой, с тяжёлым пыхтением переваливается через жердины. Но ослабленные похмельем руки его не выдерживают тяжесть грузноватого тела, и он падает боком на мёрзлую землю, невнятно матюкается и брёт в баню. Там звякают вёдра. Потом Анатолий выползает обратно сквозь низкие и узкие банные косяки, стучается головой о верхний, бурчит какие-то страшные ругательства и идёт к колодцу. Ему тяжело с бодуна, он ворчит, крихтит, однако же, ходит взад-вперёд с вёдрами. Наконец и кадушка, и котёл, и вёдра стоят полные.

Толька идёт в дровяник, машет там колуном. Постепенно движения его становятся размашистыми, ос-

мысленными, походка уверенной. Толька приходит в себя, начинает крутить по сторонам головой. Начинает соображать. И его, похоже, это самого радует.

— Чего эт я нажрался-то вчерась?— спрашивает он весело неизвестно кого. И радостно подытоживает:

— Всё, тёта, завязываю я с етим делом. Глупось одна ета пьянка.

Парасья сидит на штабельке из досок, что притулился у банной стены, и качает головой: сколько уж раз слышала она от внучатого племянника заверения бросить свою глупую пьянку, да только понимает, что эти обещания только до следующей капли водочки, которая попадёт племяннику в рот...

Потом они с Парасьей сидят в бане, на лавочке, судачат. В печке трещат дрова. Баня греется.

— Чево бы я, бабка стара, без тебя-то и делала, Анатолюшко. Вон ты как споможил-то мне. Я вон посиживаю, а в бани-то всё уж обряжённость.

Парасья сидит, глядит на отблески огня, прыгающего в печи и думает заветную думку про то, как было бы хорошо им, если бы Толька не глушил эту гадость... А тот, алкаш проклятый, не может уж, чтобы не испортить такого доброго настроения:

— Дак, не задаром же я, тёта тружусь-то чичас, — говорит он и вопросительно заглядывает тётушке в лицо.

— Успокойсе ты, греховодина, на-

лью я тебе, всяко уж налью.

Толька и успокаивается. Потрескивал огонь в печи, баня согревалась.

И тогда Парасья сказала. Ей очень надо было это сказать. Она сосредоточилась как-то вся, подобралась:

— Ты хотя и пьюшкой, Толюшка, а мастеровой ты. Стюкай-ко, милушко, домовину мне последнюю, тетушки-то своей.

Племянник вытаращил глаза, посидел, поморгал, соображал чего-то. Потом, словно окостенел, застыл, будто покойник в одном положении. Он переваривал новую, опасную для себя ситуацию.

— Ошалела ты, аль как, тётушка, каку ишшо домовину? Гроб, штё ли, заказывашь?

— Во-во, гробик мне надоть будет.

— А тебе зачем? Ты вон леташь почишше вороны какой.

Для Парасьи вопрос был решённый, она не стала чего-то объяснять, упрашивать:

— Отлеталась бабка, сам вишь. Еле шаркаю. На погост надоть мне, Толя.

Племянник понял, что дело серьёзно. Такой разговор впервые... Тяжело ему будет без тётушки... Он вскочил, потоптался, махнул рукой и сел. И ничего не сказал, только голову опустил. Племянник вдруг осознал, что дела у него плохи. Это его испугало. Помрёт — и его не спросит. И чего тогда?

— А я тебе, Анатолюшко, денежку-то в карман-то и суну. Стюкай-ко, а.

Племянник вяло, без обычной ухмылочки завозражал:

— Как ты мне, тета сунешь, коли померёшь. Сама-та рассуди. Ты уж тогда вперёд давай, выдели прям чичас. Потом-то разе дождедся от тебя?

— Дак, уважу я тебя, уважу. Успокойсе ты, — машет руками Парасья. — зальёшь опеть свою физию. Прям счас и налью...

Одной Парасье было бы не помыться. Руки еле-еле поднимались до головы, спину тоже не потерять мочалкой. Стара она... Уж год, как мыть её приходила соседка Лена, бухгалтерша колхозная. Не за денешки, а так, из доброго соседского расположения. Она помыла её, облила чистой водой, уложила в предбаннике на лавку и положила под голову валенки, укрыв их сверху полотенцем. Бабушка отдохнула. Парасья лежала и размышляла, и сказала себе самой: «Вот таперича и на погост ступать можно. Чистенька я...»

Потом Лена одела её и привела домой.

Часов в восемь вечера к ней зашёл забежал Игорько Репин, весь запыханный, худой, долговязый и вечно торопливый, будто всё время он торопится пожары тушить. Глава местной администрации, или по-старому — председатель Сельсовета. Прасковья ещё отдыхала после бани, полёживала на кровати и крепко маялась от осознания, что надо ввечеру накормить овечек и обрядиться в доме. А вставать ей не хотелось. Старое, расслабленное тело ещё бы полежало на постельке.

Параскева Никаноровна, что это за разговоры я слышал в деревне?

— Каки-таки?

— Будто Вы помирать собрались. Что за глупость вы людям говорите? Нельзя же так!

Игорько доводился родным внуком Тихановны, самолучшей, разлюбезной Парасьиной подруженьки, ушедшей в Царство Божие в прошлом годе. Попито было Игорьком вместе со своей бабушкой чаев в доме у Парасьи, много попито, когда он был ещё голопузым парнишкой.

— Нельзя же так голословно, Парасья Никаноровна, такие глупые слухи распускать! Что за шутки такие?

Прасковья понимала: Репин — человек на службе, имеет право и спросить... Она, кряхтя, с трудом, с помощью Игоря подняла от подушки туловище, села на край кровати. Голова её кружилась, и она сама маленько покачивалась с боку на бок.

— Чего ты стоишь, оглобля, присел бы к бабке-то, да и поговорил бы толком. Пожар у ево...

Глава администрации подвинул табуретку, присел. Лицо серьёзное, недоуменное.

— Смертушка приходит, дак куды ты денесся. Возьмёт за ручку, да и уведёт.

— Я вас прошу прекратить такие несерьёзные разговоры. Праздник народный на носу. А вы тут людей смущаете. Вы же у нас ветеран труда, гордость колхоза. Мы вам грамоту приготовили. Прошу отставить глупые разговорчики.

Игорь недавно пришёл из армии. Командиром там был каким-то, привык командовать... Прасковья вяло махнула рукой, поглядела на его молодое лицо.

— Позвали меня, Игорюшко. Всё равно ведь уйду, зовут дак... Не обижайся ты на меня, на старуху, не ругай... Нажилась, слава Те, Господи.

Она глядела в пол, качала головой, повязанной белым платочком. Серые волосы висели на висках.

— А тебе конаюсь, парнишечко, овечек моих передай в хороши руки, они у меня сыты, забалованы, зато шерсть от их сверкат. За домом походи, напиши шаялку моему, Генке, пусть дом не продават, а сам пусть ездит сюды, в дом отеческой, да живёт в ем, как путней человек. И внучаток моих возит. Для их дом-от, для кого ишшо...

Она с трудом подняла руку, опустила на шевелюру Игоря, погладила её.

— А меня схорони, как положено, по-человечески, заслужила я всяко уж. Пусть люди добры хороши слова про меня скажут, когда зарывать меня будут в земельку. Мне порато приятно станет от ентова, глупой бабке. Понял ты, Игорько, аль нет?

Репин кивнул опущенной головой.

— Ежели не так чего, спрошу потом с тебя, учти его, — Парасья заулыбалась, хитро сощурилась.

А Игорь Репин сидел, опершись локтями на колени, держал в ладонях голову. И время от времени вытирал рукой глаза. Потом, когда наступала

ночь, Прасковья уставшая, изнемогая лежала на кровати лицом вверх и вспоминала свою жизнь.

В войну, когда ей было пятнадцать годков, в начале лета продуктов никаких в доме не осталось. Прошлогднее жито на повети да картошка кончились, новое неросло. А мужика в доме нету — только Параша, да старая бабушка. В начале июня стало совсем худо. Они варили и ели крапиву, да траву всяку, да остатки гнилой картошки со дна погреба. У девочки Параша развивалась цинга. А бабушке за работу в колхозе денег не платили, ставили в ведомостях трудодни — галочки и палочки. С ними в лавку не пойдёшь и поесть не купишь. Бабушка Марья побрела в колхозную контору. Сказала там:

— Или мы помрём с внучкой, или дайте нам каку-нинабудь разживу.

Там поглядели, покачали головами и дали подсказку:

— Поди-ко, Марья Олексевна, к бригадиру Серапиону Бронникову, он по тоням главной. Моget быть, Параньку куда и определит.

Бронников глянул на девочку, потрогал её руки, покачал головой.

— Исхудала ты, девка, спасу нету, как и ходишь на ногах-то, бажена. Смошь-нет мужикам уху-то сварить, да избу содержать?

— Смоget, деушка, смоget, — закивала головой Марья Алексеевна, — разумяшша она страсть, и дома всё делат, помогат мне, и мужикам поможет.

Определили Парашу на рыбацкую тоню Берестянку, что в четырёх километрах от деревни. Сидели на этой тоне два пожилых мужика, которых по возрасту не взяли на войну, да ещё один старик. Держали они два колхозных семужьих ставных невода. Ну и, конечно, у каждого от берега на кольях были растянuty самолочки-рюжи на всякую там прибрежную мелочь: камбалку, наважку, ревяка, селёдочку, да мелкую трещочку. Денег не платили, но зато, когда дела все сделаны, примерно раз в неделю, бегала Параша домой с корзинкой, в которой поверх доньшка, примерно на две-три ластежки, лежала заветная рыба, спасение от сущего голода её и бабушки. Рыбы хватало даже и на угощение других добрых деревенских людей. Работы у Парашы хватало тоже. Она содержала в чистоте рыбацкую избу, чистила рыбу, готовила еду, мыла посуду — была хозяйкой. Кроме того, помогала мужикам вытаскивать на берег карбасы, после штормов вместе с ними очищала от водорослей и грязи снасти. Рыбаки относились к ней, как к внучке — добродушно и заботливо. Параша на тоне быстро окрепла, и бабушка радовалась наступившим в их жизни добрым переменам. Однажды девочка едва не погибла. Рыбаки ушли на сенокос, оставив её одну на хозяйстве. День с утра был солнечный и ветреный, задувал крепкий южный, «летний» ветер. Стояло «вёдрие» — самая сенокосная погодка, как раз под заготовку сена. Но к полудню

тёплый ветер вдруг стих, и какое-то время стоял мёртвый штиль. Потом запотягивал «полуночник», северо-восток, и начал быстро превращаться в штормовой. К берегу подошла дальняя морская волна, на их кончиках забелели «барашки». Пошёл штормовой шквал. А семужьи невода стояли в море.

Чего было делать девочке Паране? Она не могла бросить кормильцыснасти на растерзание шторма. Поморский обычай этого не допускал. И, потом, ей же было доверено быть хозяйкой, и она обязана это доверие оправдать. Ждать из леса мужиков не имело смысла: не известно ведь, когда они явятся. И девочка Параня пошла на отчаянный поступок — села в карбас, плавающий у берега, достала из воды якорь и погребла к неводу. Расстояние было небольшое, но в нос била волна и мешал встречный ветер. Кое-как догребла до ближнего кола, отвязала от него снасть и стала вытягивать её в лодку. Перебираясь слабыми руками вперёд, преодолевая мощный натиск волн и подтаскивая карбас, она вскоре осознала, что ей не справиться. Мокрый невод был слишком тяжёл для девочки-подростка. Она с превеликим трудом доставала его из воды, подтягивалась дальше и дальше, перехватывала верхницу. Но быстро вконец обессилела, и дальше двигаться уже не могла. Солёные брызги верхушек волн хлестали ей в лицо, заливали глаза. Она сидела на банке, опустив мокрые плечи на холодном ветру.

У неё не было сил даже пореветь от своей беспомощности. Но Параша совершила главное и тем самым спасла невод — она достала из воды его начало, которое стояло на мелководье, в самых россыпях. Если бы невод там остался, его бы шторм изорвал в клочья. А Параша вместе с этой его частью была уже на глубине, где россыпей не было. Тем самым Парашина смелость спасла рыбацкое имущество.

К ней, обессилевшей и продрогшей, и подошли на другом карбасе подоспевшие, прибежавшие с сенокоса рыбаки. Потом до конца сезона они нахваливали её и рассказали о смелом поступке в деревне. И вся деревня её тоже хвалила, и в колхозе хвалили, и бабушка Маня чрезвычайно была довольна своей внучкой. Параше это было очень приятно, и она ещё больше старалась быть прилежной. То сиденье на Берестянке спасло её и бабушку от лютого голода, а может, и от голодной смерти самой. А где-то грохотала война, скрежетали танки, стреляли пушки. И девочка Параша иногда во сне слышала дальние взрывы и стрельбу. Она вздрагивала, ворочалась, просыпалась на своей лежанке и долго глядела в сумрачный потолок. И казалось ей, что вон бегут с винтовками советские солдаты, а навстречу им бегут тоже солдаты, только враги, немцы, и все они стреляют друг в друга... А вокруг взрывы, взрывы, а вокруг идёт война. И падают убитые. Среди наших воинов, идущих в победную атаку,

выделяется красивый, статный солдат с медалью на груди и с лицом её Петруши. В руке у него винтовка, на голове — будёновка.

С каких-то недавних пор она всё думает о нём и думает. И в этих мечтах её иногда бывает такое, что самой потом становится стыдно. И хочется ей, чтобы укрывался он в высоком окопе, а не бежал бы во весь рост, и чтобы все пули и осколки пролетали бы над ним, мимо него, а в него бы не попадали...

Вспоминала она сейчас, как в сентябре сорок третьего года, когда надо было идти в седьмой класс, всех её одноклассников погнали «на практику». Сначала думали: как обычно — отправят на картошку или на берег, на заготовку и распиловку «морейбойного» леса. Да нет, сказали всем прихватить рабочую одежду, смену белья, запастись едой на пару дней, и седьмой класс, где пешком, где на лодках, где на подводах добрался до села Куртеево, что на Онежском тракте. Предстояла заготовка дров для нужд фронта. Потом оказалось — для города Молотовска, будущего Северодвинска, где разворачивался завод по производству подводных лодок. Город надо было строить и обогревать. Седьмой класс и бросили на выполнение этой задачи.

Всем сказали: практика продлится две недели, а потом по домам. Обещали кормить ребят по солдатским нормам. Всё бы ничего, первую ночь провели в каком-то бараке, где гудело и кусалось множество комаров,

но, в целом, было терпимо. Но уже на следующий день ученикам выдали топоры, пилы, ломы и лопаты и увели далеко в лес. Там, под открытым небом, в глухой тайге, класс приступил к лесозаготовкам. Все смертельно устали в первый же день. К вечеру с непривычки многие не могли стоять на ногах.

Помещений в этих местах не было никаких, поэтому первый раз все ночевали под деревьями, благо, ночь была не холодной. Школьники и сопровождавшая их учитель-завуч Клавдия Никифоровна стали возмущаться. Но бригадир — списанный с фронта солдат-туберкулёзник быстро пресёк разговорчики. Он выстроил усталый класс на новой вырубке, сам сел перед неровным, потупившимся строем на пенёк и с пенька сказал сквозь хриплый, кровавый кашель:

— А солдатам на фронте — что, думаете, легче? Где ночь застала, там и спят. А ежели бой, так и не спят совсем. Вы тоже теперь, как солдаты. Вся страна воюет, и вы тоже.

Закоренелый курильщик, доживающий из-за съеденных болезнью лёгких последние месяцы на грешной этой земле, бригадир сворачивал на коленке сигарку и наставлял:

— Время военное, школяры. Имейте ввиду — кто будет сачковать, отлынивать и прятаться от работы, тот будет иметь дело с военным трибуналом.

Он пыхтел «козьей ногой», судорожно корячился на пеньке от

смертного хрипа, и глаза его сурово поплёскивали из-за дымной тучи.

— А как вы хотели? По законам военного времени...

Но, человек бывалый, он помог школьникам выстроить шалаши, научил их утеплять, укрываться от холода, идущего от земли. Показал, как надо разводить костры, как сделать так, чтобы дым костра согревал шалаш и ночью.

Взятой из домов еды хватило только на пару дней. Потом началась жесточайшая голодуха. Ребята вытряхнули и съели запасы из всех мешков, из котомок, собрали в округе все грибы и ягоды... Но от них было мало толку: молодые организмы требовали хлеба, а хлеб ушёл очень быстро...

Потом стали варить траву, листья, затем и кору сосен да ёлок, мох. Через две недели седьмой класс еле передвигался на ногах. А работа была тяжёлая: валить деревья, рубить сучья, брёвна распиливать на чурки. Их, в свою очередь, надо было расколоть, дрова сложить в поленницы... Каждый день класс из четырнадцати человек должен был заготовить два кубометра готовых к вывозу дров. Ежедневно из Молотовска приходили подводы и увозили дрова в город. Когда ребята от голода стали похожи на скелеты и начали падать с ног, бригадир, тоже схожий из-за болезни и голода с еле ползающим скелетом, воткнул топор в пень и хрипло изрёк:

— Всё, шабашим! Ну их на хер, этих уродов! Совсем у их совести нету, забыли про нас! Поеду морды

бить гадам. Приказываю всем сидеть у костров и не шевелиться. А то сдохнете все с голодухи, а грех на меня ляжет, что детей голодом заморил. А мне больно это надоть...

Он лёг на дрова очередной телеги и уехал в город. Вконец обессиленный, сидеть он не мог. А ребята, изнемогшие, изголодавшиеся легли в свои шалаши и стали ждать смерти. Брошенные взрослыми на непосильную работу, обессиленные, они потеряли ко всему интерес. Беда их коренилась в обстоятельствах, совсем им не ведомым. Они не знали того, что город, для которого они заготавливали дрова, представлял из себя большой концентрационный лагерь: военный судостроительный завод строили заключённые, согнанные сюда из тюрем и лагерей всей страны. Об этих людях никто не заботился. Все они страшно голодали сами и ежедневно умирали в огромных количествах вследствие диких, бесчеловечных условий содержания. В стране действовали законы военного времени, шла война с фашистами и Главному управлению лагерей (Гулагу), ведавшему и этой стройкой, и этими людьми, были абсолютно безразличны судьбы неизвестных бедолаг, проходивших по делам врагами рабочего класса и трудового крестьянства. Тем более, в условиях страшной тыловой неразберихи, массы нерешённых вопросов, руководство стройки даже и не представляло, что где-то в лесу умирают от голода и холода деревенские школьники,

заготавливающие для них дрова. Бригада семиклассников, брошенная в лесу, оказалась всего лишь безвестной каплей в море голода, смертей и ужаса, царившего вокруг военной стройки. Ребята невольно сами оказались в тисках смертоносного Гулага. И они, конечно, погибли бы, если бы не их туберкулезник-бригадир. Потрясая своей воинской инвалидной книжкой, мечая на всех стоящих на его пути кровавые чахоточные брызги, тем самым распугивая всех, он, скрюченный болезнью, едва живой, прорвался к какому-то большому начальству через кордоны безразличных, отупевших от несчастий людей, обозвал при этом всех ему мешавших последними суками, предателями и вредителями и лёг начальству на стол, потому, что ноги совсем его не держали. И в такой позе разъяснил начальству суть своих требований.

Начальство от всего этого пришло в большой экстаз и очень хотело вытолкать его из кабинета, но умирающий от чахотки солдат всё же выиграл свой последний бой.

— Я перестреляю вас всех, бездельников, — орал он бескровными губами, — ежели ребят не накормите! В тепле пригрелись тут, вражьи гады, жрёте от пуза, а ребятки помирают из-за вас, шкурников!

— Какие такие школьники, не знаем никого, — огрызалось начальство. — Самим жрать нечего, вся стройка с голоду пухнет!

— А мне накласть на вас, — отвечал солдат, — не поможете ребятам,

я гранату сюда принесу, долбану вас, козлов. Я умею...

Он приехал с очередной подводой и привёз на делянку кое-какую еду: буханки плесневелого хлеба, шматы подкисшего, но всё же съедобного тюленьего мяса. Привёз тюленьего сало, страшно воняющее ворванью, но оказавшееся спасительным от цинги, бочонок солёной селёдки... И несколько головок настоящего сахара. Всё это было бесценным богатством, было спасением... И ещё бригадир выпросил и доставил ребятам семнадцать штук драных-предраных, но всё же тёплых зековских фуфаяк. Они хоть немного, но защитили парней и девчонок от ночных заморозков прибывающей осени.

Вместо двух недель семиклассников продержали в лесу два месяца. Им разрешили отбыть домой, только когда в лесу, на шалашах, плотным слоем лежал снег. Многие привезли с собой из леса хроническую простуду, тяжёлые, неизлечимые болезни лёгких и бронхов, искривлённые позвоночники: детские организмы не справились с перегрузками. Два человека заболели и не избавились потом от туберкулёза, рано ушли из жизни. В те годы болезнь эта считалась смертельной. Параше, можно сказать, повезло. Её тяжёлую простуду выгнала из тельца бабушка Мария. Она обязательно два раза в неделю топила жаркую баню и подолгу хлестала ослабевшую внучку берёзовым и можжевёловым веником, ставила какие-то целебные примочки и пич-

кала одной ей известными травяными снадобьями.

К весне Параня совсем выздоровела, но как-то вдруг она посерьёзнела, повзрослела, что ли. Жизнь преподнесла такие уроки, от которых из неё выпорхнула и улетела в безвозвратную даль юношеская беспечность.

Ну, какая, скажите на милость, может быть в конце войны свадьба, когда кругом столько ещё горя, когда похорожки всюду приходят, когда голодно в каждом доме? Народ изнурён разрухой, безденежьем, а в домах живёт печаль по невернувшимся с фронта. Ну и потом, на свадьбе должен быть добрый стол, должны быть подвыпившие гости, и обязана петь, плясать и шуметь человеческая радость. А без всего этого — какая уж тут свадьба! И какая потом память о ней сквозь все годы, через всю жизнь?

У Петра с Парасьей вот такая вот свадьба, несмотря на все препятствия, всё-таки была, и добром запомнилась и им, и всей деревне. Состоялась она в тяжёлом сорок шестом, когда Параше было всего-то семнадцать годков.

Чего греха таить, жили они тогда с Петрушей уже как муж и жена. Но, деревня ведь: всё тайком, да украдкой, а самое лютое дело было — людская молва. Так кости перемоют — по деревне не пройдёшь, в лавку не сбегаешь, за водой не сходишь без злых языков, без пересуду. Народу будто делать нечего, всем до тебя дело. Бежала она к нему поздними вечерами,

пряталась от чужих глаз. Да разве спрячешься! На деревне каждое окошко — как шпион, за тобой подсматривает. Разговоры о них, конечно, ходили, но вслух никто не укорял, только за глаза. Молодые, само собой, боялись деревенского суду-пересуду. Но молва — хуже змеюки подколенной: кусает исподтишка, даже и убить может. Пётр — жаркий, раскрасневшийся — лежал с Парашей на одной подушке и горячо шептал:

— Ежли кака сволочь вякнет тебе чего, убью заразу! Враз закокаю! Ейно ли дело!

А Параше в её семнадцать лет не полагалось по закону быть пока что замужней женой, рановато было. В сельсовете пеняли Петру и Парасье, когда они туда обращались:

— Ишь, прятки каки! Погодьте покеда, ешшо время ваше не вышло. Равзе супротив закону мы пойдём? Права не имем.

Пётр скрипел зубами:

— Жалко, я «Вальтер» свой не привёз с фронту. Был ведь... Счас бы погонял придурков по деревне...

И они уходили из сельсовета в деревню, полную слухов и людского шёпота. Потом всё получилось как-то само собой. Парасья забеременела. Пётр гладил её, не вполне созревший ещё, животик, закатывал глаза и сказывал:

— Не, маленько рановатенько пока ешшо. Пускай ешшо надует. Тогда и пойдём с тобой, Парасьюшка, штобы умолкли оне, заразы. Путь тогда попробуют не регистрировать...

В сельсовете секретарь, троюродница Петра Настя Крюкова, тоже недавно получившая на мужа похоронку, ехидна та ещё, подозрительно взглядывала на троюродного брата и на его невесту:

— А, можа, вы напридумывали чего, живота-то вон особого и не видать пока, можа, пыжиче она, Параша-та, живот свой дует. А как я без живота запись-то совершу. Меня тогда и заарестуют за нарушенье советских законов.

Пётр терпел-терпел и не выдержал:

— Научилась умны речи произносить в сельсовете своём, дура хренова! — троюродник её рассвирипел и хряпнул кулаком по председательскому столу. Кулак у него был тяжёлый, оттого графин на столе подпрыгнул, а стакан вообще свалился на бок и покатился ко краю. Председатель Агафонов перехватил его, поставил на место и укоризненно сказал:

— Ты, Петро, хоть и фронтовик, а громить сельсовет не надо. Откуда мы тут знам, беременна Параня, али нет. Без этого нельзя, понимать должен.

Пётр вытаращил и без того бешеные глаза:

— А, чево и она! Вопросы мне тут задават, родня! Парасьюшка, а ну раскинь-ко одёжку. Да покажи писакаем етим, чего у тебя имеется.

И та, послушно потупив глаза, покраснев донельзя, растегнула фуфаечку и показала всем уже вполне округлившийся свой животик.

— Чево ишше вам надоть? Видали, неверы? — зыркал глазами Пётр и торжествовал. — Жонки моей рожать приспичило, а оне губой трясут.

— Ладно-ладно, Пётр, уймись, доказал своё, давайте паспорта, молодожёны...

И, пока Агафонов выписывал брачное свидетельство, взглядывал на молодых вполне дружелюбно и ворчал:

— Видали ево, стаканы колотить в сельсовети моду взял, в атаку он поскакал, кавалерист, мать его... Знавали мы таких... Тоже саблями помахали в своечасье...

А потом была свадьба-свадебка. Хоть и голодная, хоть и захудалая, а всё же свадьба. Народу поначалу было мало — только близкая родня. Но распеться не успели, как потекли люди в дом, и как-то всё поразухабилось, расшумелось.

А к ночи гуляла вся деревня. Все понимали, что у молодых есть нечего, и приносили люди с собой, кто чего мог. Народ устал от войны, от беды, от непрестанного горя. И возрадовался чужому счастью, тому, что — вот она — снова на деревне свадьба, что опять радость приходит в дома, что наконец-то возвращается нормальная жизнь!

Когда Петруша сгинул в дальних морях, Парасья долго была сумасшедшей. Внешне это почти никак не выразалось. Ежедневно она выходила на работу в коровник, где была дояркой. Кормила и доила коров, гремела вёдрами, участвовала в социали-

стическом соревновании, судачила с людьми о том, да о сём, бранилась с начальством. Всё было, как у всех.

Но были у неё странности, которые смущали людей.

Она ждала и ждала из моря своего Петрушу. И, когда приходила с работы домой, то всегда интересовалась у сына Гены:

— А папа наш не приходил из моря? Скажи-ко, паренечик, ну куда ето он пропал от нас? Разве можно жену да сына на эстолько времени покидать? Можа, он загулял где? Ну, придёт, дак уж я ему задам.

И часто-часто в тёмные осенние ночи сидела она на морском берегу и палила костерок. Подбрасывала в огонь побольше дров, костёр разгорался яркий, и отблески его плясали на ночных деревенских домах, на дровяных кострищах, разбросанных на пустынном берегу, на верхушках чёрных морских волн. Деревенским жителям поначалу было даже интересно: чего это Парасья по ночам огни на берегу разводит? К ней подходили, присаживались и интересовались. А она отвечала так, будто это само собой разумелось:

— Чего не понимаешь, Петруша же в море? Ему надоть к берегу приплыть, а как он деревню разглядит в темень-то эдакой? А огонёк-от ему и светит. Вот и приплывёт сюды, родеменькой. Надо же ему спомогнуть!

Люди не спорили с ней, все понимали, что Парасья не в себе.

Вся деревня любила её за доброту, за безотказность, за трудолюбие. И за

эту верность своему Петруше. И вся деревня жалела её. Но никто не знал, как же излечить её от страшного недуга. И вот однажды поздним вечером к ней на берег пришёл и присел к костерку председатель колхоза Волокитин. Мудрый человек, хлебнувший на войне и в жизни много горюшка, повидавший всякое. Он пригнулся рядом на краешек бревна, поглядел на огонь, на его прыгающие блики и сказал простые слова:

— Нашему тральщику повариха нужна. Может ты, Параскева Никаноровна, в море сходишь?

И в Парасье что-то взыграло. В море! В море! Туда, где Петруша её обитает, откуда не возвращается никак.

— Да как же, Вячеслав Егорович, коров-то своих куды дену? Оне ж, как дети малы, обихода моего требуют. А Генка мой, его-то куды?

Председателя вопросы не смутили. Он, видно, всё хорошо продумал.

— Всего-то на три месяца. Коровы твои, женочка, без тебя не сдохнут, други люди найдутся, всяко обиходят. А сынок твой у меня поживёт. Они с моим Пашком дружат.

И сказал уважительный аргумент.

— Ну, а повариха ты, Парасьюшка, отменна. Вся деревня это знает. Так что собирайся, голубушка. Недела тебе...

Он помолчал, потыкал палочкой угли.

— А, может, в море и найдёшь своего любого тебе, того, кого ищешь. Всяко ведь бывает.

Так Парасья попала в команду среднего рыболовецкого траулера СРТ-307, в простонародье именуемого «семёркой». Это была совершенно другая, неведомая раньше жизнь. Маленький, дружный, работающий коллектив, морская качка, незлобивые, крепкие разговоры. Нацеленность на улов, самозабвенная работа. А кругом — море, море, море... Парасье понравилось готовить для команды еду. Всё у неё получалось — и первое, и второе, и третье. Знатной стряпухой была бабушка, такой же умелой поварихой была и Парасья. Рыбаки нахваливали её и не в шутку грозили не отпускать на берег.

— Я к коровушкам обратно желаю, — добродушно сопротивлялась Парасья, — да к сынку своему, к Геночке. Они ведь без меня тоскуют тамогде, а я-та как без их? Мне без их порато худо.

— А мы Генку твоего тоже в команду определим. Пусь с нами вкальват, деньги зарабатывают, мужик, всяко растёт, — весело сопротивлялась команда.

Лучше всего у неё получалась мясная солянка.

— В жись такой не едали, — сказывали рыбаки и просили добавки.

А капитану судна, соломбальскому трескоеду Ситникову настолько нравились Парасьины разносолы, что он по радию требовал у мурманского порта выписать повару почётную грамоту. Что и было сделано. По вечерам, когда на судне всё успокаивалось, Парасья выходила на палубу, шла в са-

мый нос и вглядывалась в крошечную морскую даль. Плавно и размашисто ходили перед ней свинцовые волны, и не было в этом просторе никакого другого звука, кроме плеска воды да криков чаек. Она избавилась от своей болезни примерно через месяц работы на тральщике. Как это было уже много раз, стояла она вблизи от уходящего в холодную воду трала, заворожённо глядела, как мгновенно падают с палубы и скрываются в глубине буйки, снасть...

Она поняла: если муж её сорвался в воду, то вместе с тралом он также сразу ушёл в морскую бездну. Ей за долгое время стало вдруг совершенно очевидно, что из той ледяной глубины человек не сможет вернуться назад.

Она впервые познала со всей очевидностью, что Петруша её погиб и никогда к ней не воротится. Что ждать его бесполезно.

Наверное, на это и рассчитывал мудрый председатель Волокитин.

Парасья села на мокрую, холодную палубу и зарыдала. Отчаянно, громко, навзрыд. Она выздоровела. В Мурманске Парасья накупила подарков для сыночка, для своей животноводческой бригады, для соседей.

И никогда больше не сидела по ночам на морском берегу и не жгла костры. А только вслух, прилюдно, печалилась по своему Петруше.

Колхозный бригадир Николай Пищихин шёл мимо скотного двора. Шёл по своим неотложным, служеб-

ным делам, как и подобает бригадиром. Шёл и никого не трогал. Человек женатый, степенный, был он в выходной, красной рубашке и направлялся к Запрудным пожням. Там, на самолучших колхозных сенокосьях трудились сегодня гребей, убиравшие просохшее сено. И была посреди этих славных тружениц давняя-предавняя его зазнобушка Платонида, душа ненаглядная. Крепкая, ядрёная, налитая вдовушка. Уж год, как приключилась промежду ними пылкая любовь. Тайная, грешная, но такая сладкая, такая неотвязная. Николаю приключился свободный часок, и шагал он, торопился, чтобы кроме sprawy бригадирского контрольного пригляду, хотя бы глянуть глазком на свою зазнобушку, полюбоваться крепким её телом. Да, может, словом перемолвиться как бы ненароком, свиданье новое наметить.

А рубашку красную надел, потому как больно нравился он Платониде в этой рубашечке. Напротив скотного двора приключилось с ним событие, форменным образом прервавшее его поход и испоганившее хорошее настроение. Между скотным двором и Белой рекой, рядом с тропинкой, по которой шагал бригадир, стоял бык Богатко. Стоял и со свистом выдыхал через ноздри воздух. И глаза его сегодня были почему-то красные. И сам вид по какой-то причине был свирепый. Николай не боялся колхозного быка. Он сам лично разглядел в нём, ещё в телёнке, будущего производителя и дал команду дояркам

оставить его на вырост. С тех пор, проходя мимо стада, Пищихин безбоязненно подходил к подрастающему быку, чесал у него за ухом и трепал загривок. И по-хозяйски наставлял:

— Давай-ко, Богатко, прибавляй стадо, работай, не сачкуй...

А Богатко всегда приветствовал его радостным мычанием. В общем, были между ними приятельские взаимоотношения. До сегодняшнего дня. Бригадир в мечтах о Платониде совсем позабыл всем известную бычью привычку: они терпеть не могут красный цвет. И вот давний приятель Богатко двинулся на Пищихина, ковыряя при этом копытом землю и угрожающе фырча.

— Ты чево это, придурок, чево фыркашь-то, — ласково сказал ему Николай. Но вдруг сообразил при этом, что сегодня чесать за ухом быка Богатка ему совсем даже не следует.

Богатко подскочил к нему и, наклонив чуть не до земли голову, резко остановился в двух метрах и опять угрожающе фыркнул. Бригадир понял тогда, что никакой дружбы промежутом между ними совсем уже не осталось, а есть только реальная возможность оказаться на рогах озверевшего вдруг Богатка. Он сам резво подпрыгнул ввысь и в бок и, что было мочи, прыснул к реке. Бык — за ним. Река бригадира и спасла. Он забежал на глубину сколько мог, потом нырнул и вынырнул уже под другим берегом. И стоял там по пояс в воде, тряся от холода и пережитого ужаса. С выпученными глазами глядел на быка

и ничего не понимал.

— Ни хрена себе, — только и смог сказать Пищихин и сгрёб с глаз пук мокрых волос. Бык стоял в воде, зыркал кровавыми глазищами на бригадира и страшным образом фыркал.

«Вдруг в воду полезет, гад, мне-то куды же тогда? Забодат до смертушки, да и всё. Чего у его на уме-то, — тоскливо размышлял Пищихин, — И не убежишь ведь от его, бегат быстро, скотина».

Они враждебно глядели друг на друга, два до сегодняшнего дня дружка-приятеля. Их разделяла совсем неширокая Белая река. От безысходности Николай начал выкрикивать какие-то бестолковые, но, на его взгляд, грозные слова.

— Этто што тут за дела за таки? Ты, огудан, давно жердей по хребту не получал? — зазвенел крик с того берега. И Пищихин к своей неожиданной радости узнал и хозяйку этого голоса. То была Парасья Худякова, знатная доярка, уважаемая в деревне жёночка, командирша среди людей и коров. Это она кастила и прогоняла с берега быка Богатка.

Досталось и самому Пищихину:

— Ты скажи-ко мне Николай! Ум-то есть ли у тебя, али нету его совсем? Одежу-то пошто одел красну, да к быку-то в ей сунулсе? Ты бы ишшо красну шляпу напялил, умник! Вылезай давай, фартовина хренова!

Она схватила лежащую на берегу палку, прямо в своих сапожных обрезках забрела в воду и принялась дубастить быка по бокам, да по ши-

роченной заднице.

— Выходи-ко, выходи-ко, окаян-ной, — шумела она, — вишь, удумал чего — людей пужать!

Бык виновато потупил голову перед хозяйкой, стал переступать передними ногами, разворачиваться к берегу и наконец вынес гигантскую свою тушу на берег. И понуро побрёл к скотному двору. Он всё же пару раз оглянулся кровавыми глазами на Николая, звучно пофыркал и, подгоняемый Парасьей, побрёл домой.

— Пофырчи у мян ишшо, пофырчи, гнойна твоя харя, — ругала его Парасья, впрочем, вполне дружеским тоном. — Пошто мужика-то до смерти перепужал. Таперича из воды вон выползти не смет. — Парасья сама тоже тихонько фыркала и украдкой хихикала. Перечить ей бык не мог. Животные очень уважают своих хозяев. А бригадир Пищикин выбредал из воды и крепко ругался. Красная рубашка его потеряла праздничный вид. Да и сегодняшнее любовное приключение явно не состоялось.

По возвращении с тральщика Парасья вновь пошла на ферму к своим коровушкам. А те, странное дело, узнали её и встретили звонкий и громкий голос своей командирши радостным мычанием и дробным топотом копыт. Точно так топочет ногами и деревенская публика в сельском клубе, когда ей нравится какая-нибудь постановка. Люди и коровы одинаково выражают свой

восторг. Вместе со своими коровами и с колхозом прошла Парасья долгий, трудный и славный путь успехов и неудач, подъёмов и падений. Всякое бывало на этом пути. Поначалу содержание коров было совсем убогим. Колхоз держал пятнадцать-двадцать голов, да примерно столько же телят на вырост и на мясо. Хорошей, производительной маслوبيки тоже не было. Всё делалось вручную, кустарно. Продукция расходилась между деревенскими жителями по копеечным ценам. Весь животноводческий цикл крутился из-под палки, был как бы данью всеобщей колхозной моде, жил по командам из райцентра. Коровки содержались в старом, тесном, продуваемом ветрами скотнике. Электричества не было. А, значит, не было и подачи воды. Доярки сами носили ушатами из колодца воду, надрывались и падали на зимних скользких дорогах вместе с ушатами. Оттого постоянно было много ушибов и синяков на женских телах. Жизнь налаживалась медленно, мучительно, постепенно. «Худа жись» отступала неохотно, огрызалась и уползала из деревни, скалясь и ворча, словно нерадивая псина, изгнанная из дома за безделье и воровство.

Перемены пришли после того, как в деревенских домах и на скотном дворе появилось электричество. Тогда на протекающей рядом с фермой Белой реке организовали водокачку, провели от неё трубы, и вскоре стойло каждой коровы оснастили

автопоилкой.

Вот уж благодать настала! Не стало нужным теперь дояркам носить на своих плечах по множеству тяжёлых ушатов с речной водой. Ткнёт коровушка плоской своей мордочкой в лопатку, что в автопоилке, в железном её корытце и, пожалуйста, пей сколько хошь, Бурёнушка, водицы из речки!

А затем крепко, до ста голов выросло стадо, а значит, увеличилось и количество доярок. Вместе с этим, как положено, заработал на всю катушку и маслозавод. И самое лучшее сливочное маслице, замешанное на травах Белого моря, стало продаваться в Архангельске и в Северодвинске.

Парасью Худякову назначили тогда бригадиром животноводческой бригады. Набравшая опыт, снискавшая уважение земляков, могла бы теперь она ослабить нагрузку — начальница всё же — да, куда там: обряжала пятнадцать коров, как и все. Начинала дойку в семь утра, потом дойка днём, затем в пять вечера. Поспевала и дом в чистоте держать, и у сыночка Гены уроки проверить, одежду в порядок привести, накормить мальчишку...

Минутки свободной у неё не было. Отдохнуть при этом как-то успевала. На всех, считай, госьбах не было певуни голосистее да звончее, чем она. После второй да третьей рюмочки подвыпивший народец просил:

— Спой-ко, Параньюшка, теперь ты-то, голубушка. Давнехонько тебя-та не слыхивали.

Хотя выступала она на последней

госьбе совсем даже намереди.

Парасья, подобравшись, сосредоточившись, посерьёзнев, начинала поудобнее устраиваться на лавке, распрямлять спину и грудь, чтобы в лёгкие попало побольше воздуха, да чтобы песня шире и разудалей получилась. Проходило малое время, и вот уже во всех сторонах шумного стола прекращался галдёж, шиканье, госьба как будто замирала. Вся застольная публика смотрела на неё, на Парасью, со вниманием и уважением.

И вот она как будто бы освоилась с ролью запевалы, смело оглянулась по сторонам, словно приглашая народ поддержать её и её песню... Приосанилась, распрямила плечи и зазвенел чистый, звонкий голос:

Все-то вы, голубушки, летаите, Все-то, пташки вольны, воркуите...

А народ уже и рад поддержать всем знакомую, старую, славную песенку. И вот она набирает силу, разносится по деревне. И во всех домах её подхватывают и напевают. И песня звенит над домами, над морем, над лесом... И у всех становится отрадно на душе, и дружно, и уютно.

Однажды глухой зимней ночью посреди деревни загремел сторожевой рельс, который вместо «пережитка прошлого» — церковного колокола, давно увезённого из деревни на металлолом, висел на металлическом тросе, закреплённом на бревенчатой треноге. Парасья сунулась в окно, увидела тёмно-бордовое зарево в стороне фермы, услышала крики на

лице... Она схватила со стены икону «Неопалимой Купины» и, накинув на ночную сорочку фуфайку, бросилась к своим коровушкам. Парасья вывела из огня своих скотинушек, всех пятнадцатерых, хотя одежда её обуглилась и наполовину сгорели волосы, потом выводила остальных коров, помогала тушить пожар, бегала за водой к проруби и заливала огонь, и заливала... И ещё — молилась Господу Богу, Пресвятой Богородице и взятой из дома иконе, чтобы оставили пожар, чтобы спасся скот. Она кричала молитвы громко, во весь голос, и люди, бывшие рядом, подумали, что она опять сошла с ума. Но она просто молилась. Хотя это было совсем не принято в те годы.

В колхозе Параскева Худякова проработала всю главную часть своей жизни. Это были славные её годы. От колхоза и от государства она получила много наград. И, хотя личная жизнь её не получилась, основным для неё было то, что заслужила она людское уважение. Всем всегда она несла только добро. Добро и свет.

Праздничная служба в церкви начиналась в девять, и у Парасьи было время на подготовку к последнему в её жизни празднику — Дню Казанской иконы Матери Божией. Как и всегда, она проснулась в пять часов утра.

Как всегда, доковыляла до окошка, взгляделась в тусклый осенний, брезжущий с тёмных небес свет, выпустила кота за дверь. Потом с тру-

дом стала на колени перед образами и прочитала утренние молитвы, которые давно помнила наизусть. Поздравила с праздником все небесные силы и «весь крешшоной мир». Как всегда, с особенным трепетом душевным, со вниманием и тщанием произнесла молитовку Царя Давида, пятидесятый его псалом, в котором содержится просьба о Господнем помиловании грешной её души: «Помилуй, мя, Боже, по велицей милости Твоей...». Произнося эти древние слова, она всегда искренне волновалась: а вдруг да не помилует, возьмёт и накажет, прямо сейчас ударит молнией или ещё чем-нибудь за грехи её немилосердные. Потом, тяжело шаркая по дому, обрядилась с собой и с овечками. Завтракать не стала, хотя в чулане, на холодке, стояла любимая селёdochка пряного посола. А к чайку заготовлены были овсяные калачики, полежавшие на комодной полке пару-тройку дней. Такие всегда казались ей более душистыми, настоявшимися, чем пресные свежие. Кому как, а ей — вот так! Есть было нельзя. Большой грех перед вкушением святых Божьих даров.

Парасья твёрдо решила на сегодняшней литургии исповедоваться священнику в своих грехах и причаститься Телу и Крови Господней. Она понимала, что больше у неё такой возможности не будет, что всё это — в последний раз. Деревенская церковь была новодельная. Старая, в которой она бывала ещё девочкой, той, в которой с иконы ей улыбался Свя-

той Николай Чудотворец, давно уже не существовала. В начале тридцатых из храма изгнали деревенского батюшку, создали там сельский клуб, и в бывшей церкви зазвучали голоса тальянок, балалаек, потом уже и радиолы. На месте амвона сделали сцену. Вместо алтаря появилась гримёрная, она же и распивочная, и кабинет завклубом. Затем храм окончательно разрушили и пустили на дрова.

Только совсем недавно один добрый человек из «новых русских», предприниматель, бывший деревенский житель, живущий теперь в городе, на свои деньги выстроил новый храм. Теперь в церковные праздники в деревню приезжает из Архангельска батюшка и проводит службы. Праздник Казанской иконы — одно из таких духовных событий, и сосед-забудыга Толька уже сообщил бабушке Парасье, что приехал районный благочинный, и что будет литургия. Вот уж кстати, вот уж радость! Для Парасьи это — форменная благодать. Теперь она стояла перед иконами на коленях и готовилась, вычитывала, как положено, Последование ко святому причащению.

Утро за окошком потихоньку рассеивало сиреневый свет посреди ноябрьской темени, оттого сквозь стекло в избу просачивалось тусклое свечение зарождающегося дня. Этот слабый свет разрушал ночь, что, в свою очередь, наполняло душу Прасковьи свежей радостью и ожиданием новых событий и перемен. В её жизни было так много тёмных сумерек и ночей.

Она не любила ночь. Молитва была длинной, и Парасья не всё понимала в этих сложных духовных текстах. Но она давно осознала главное: в молитвах можно чего-то не понять. Важно только среди мудрёных этих слов разглядеть Господа Бога и Его волю. И ещё: должна быть изначальная любовь к Святому Писанию, к Божьему слову. Всё это так у неё и было. И со страниц Писания, с каждой его буквы глядел на неё внимательный и добрый лик молодого Бога — Иисуса Христа. Он одобрительно кивал ей и тихо улыбался. Во всё время чтения сердце её наполнялось всё более сильной любовью к Нему и благословенным страхом оттого, что сегодняшним утром она сможет вкусить от Источника Живого Святых Христовых Тайн.

И ещё одно сладкое и тревожное ожидание волновало и согревало её душу — встреча с Божией Матерью Казанской и с дорогим её сердцу Николаем Чудотворцем. Как-то Они встретят старую старушку с грешной её душой?

Бабушка еле-еле дошаркала на слабых, подгибающихся ногах до храма, опустила в ящичек денежку, купила свечечки и вошла в церковный зал.

Вот и он! Перед нею — Николай Чудотворец. Он смотрит прямо на неё. Старая икона, та самая, к которой тянула ручки маленькая Параня, сидевшая на отцовских руках. Нашлась! Добрые люди сохранили её и вернули в храм. Святой старец, как и тогда, в её детстве, глядит на неё

внимательно, с приветливой улыбкой. Он снова улыбается ей! Николай рад новой встрече.

Бабушка Парасья протягивает к нему свои, искорёженные тяжёлой работой руки, гладит икону и целует, как когда-то это делала маленькая девочка. Они здороваются. Два старых, любящих друг друга человека. По щекам Парасьи текут слёзы. Потом старушка садится на лавку — ей тяжело стоять, склоняет низко голову. Сквозь пелену прожитых долгих лет к ней возвращаются образы родителей, безвинно загубленных неизвестно за что, лицо доброй бабушки Марьи, спасшей её. Парасье жалко, что не нажилась она с ними, бесконечно дорогими людьми. Жалко тяжёлой жизни, проведённой без драгоценного, сердечно любимого мужа, так рано её покинувшего...

Бесконечно жаль ей и кровинушку свою, дорогого человечка — сыночка Геночку. Отпустила она его рано от себя, а слабый он, не характерный. Надо было поддержать около дома родного, пусть бы окреп сначала. А потом уж о городе проклятом думал. Город-то его и надломил. Запил там сыночек, потерялся... Да ещё с бабой дурной связался... Всё одно к одному. И как их деточки — Лёнька да Наташенька, внучатки её — с такими родителями жить теперь будут? Дети ведь малые...

Грустные мысли живут с ней рядом постоянно, Парасья невольно давно уже свыклась с ними. Но вот сегодня к ней пришла радость. Это потому,

что в своё последнее утро находится она в церкви, что опять, как в далёком детстве, ласково смотрит на неё Николай угодник, живший всю жизнь в её сердце. А ещё радостно было от того, что Парасья твёрдо верила — вымолит она сегодня лучшую долю для своего заблудшего сына, призрит и вразумит его, непутёвого, Господь и убережёт по заступничеству Николая Чудотворца её дорогих далёких внученек — кровинушек. Не сомневалась сегодня Парасья, что будет у них счастливая жизнь. А иначе — для чего все её страдания и жертвы. Жертвой жизнь ладится. На исповеди она стояла на коленях, потому, что ноги её уже не держали. Батюшка, отец Владимир, исповедовавший её, тоже встал перед ней на колени. Голос Парасьи дрожал. Она, утирая глаза платочком, поведала священнику свою горькую жизнь, рассказала о несуразных и неразумных делах своих, которые считала грехами, о неправильных мыслях, о несбывшихся мечтах. Батюшка, близко к ней наклонившись, слушал и улыбался. Он давно знал бабушку Парасью, уже исповедовал её раньше и хорошо понимал, что за этой старой женщиной нет никаких грехов, а есть человеческие, объяснимые поступки, совершённые в разных обстоятельствах. Он любил Парасью как священник и как человек, поэтому добрая улыбка не сходила с него во всё время исповеди. С лёгким сердцем он отпустил ей все прегрешения и простодушно подумал: «Вот, если бы у всех людей были

такие грехи, мир был бы святым...» В конце литургии Парасья причастилась и, низко поклонившись образу Казанской Богородицы, поблагодарила Её за всё, за всё, за всё. И добрые люди помогли ей дойти до дома.

Внучатый племянник Толька явился к ней тем же днём за выторгованной порцией сладкой бражки. Параскева лежала на полу перед иконами. Анатолий всю жизнь боялся покойников. Он пошёл на крылечко и, потрясённый, посидел там с вытаращенными глазами. Ему было жалко себя.

Его двоюродная тётка, хоть и кляла его почём зря, но была к нему добра и заботлива, и всегда вставала на его защиту. Да и денежкой всегда уж баловала. Теперь он всего этого ли-

шился. Толька посидел, погоревал и пошёл звать Игоря Репина, главу администрации.

Когда гроб лежал на поперечинах над вырытой могилой, от него исходил еле видимый тихий, туманный свет. Многие видели его и удивлялись: откуда взялось это чудное свечение?

Сразу после похорон бабушки Парасьи куда-то запропастился кот Мелентий. Люди так решили: наверное, тоже обрядился помирать, да и ушёл из дома. Известно ведь, что коты и собаки, да и другая живность, потеряв любимых хозяев, долго не живут. Уходят от людей и навеки утихают в каком-то своём могильном местечке. Так уж устроена жизнь.